

ГИЗУМ ГЕРКО

ПРАВО ЛЕЧИТЬ

ТОМ I



Гизум Герко
Право Лечить

«Автор»

2026

Герко Г.

Право Лечить / Г. Герко — «Автор», 2026

Мне сорок три, я дворф и всё ещё послушник. Пока ровесники командуют артелями, я таскаю мясо за пару перчаток и учусь лечить. Для начала хотелось бы получить сапоги по размеру и место в книге дежурств. Чтобы, когда кому-нибудь станет плохо, знали, за кем бежать. Ради этого я уйду из Холодной долины. Впереди — Стальгорн, дороги Болотины и Штормград, где жрецу всегда найдётся работа. Особенно если он согласен лезть вслед за остальными в Мёртвые Копи. У моих спутников оружие, свои цели и планы на добычу. У меня — Свет и обязанность довести их до выхода живыми. А ещё привычка задавать вопросы. Например, кем были люди, с которыми нас отправили сражаться. Фанфик по World of Warcraft времён классического Азерота. Приключения дворфа-жреца, рассказанные им же самим.

© Герко Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Восемь кусков мяса	5
Глава 2. Горячий эль	13
Глава 3. Книга дежурств	21
Глава 4. Пехотинец Дольф	28
Глава 5. Серая берлога	36
Глава 6. Два с половиной дня	43
Глава 7. Ворота, которые видно из-за гор	51
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Право Лечить

Глава 1. Восемь кусков мяса

Восьмой кусок не лез в мешок.

Семь легли как родные, а восьмой упирался, топорщился и норовил вывалиться, и я потратил на него столько же времени, сколько на всю дорогу от озера. В конце концов я сунул его за пазуху. Тёплый он не был давно, зато был мокрый.

Так и пошёл: семь в мешке, один под рубахой, снег по колено, и до Наковальни ещё половина склона.

Про волков Холодной долины вам, наверное, рассказывали, что они опасные. Кто рассказывал, тот их не видел. Волк тут жирный, ленивый и до крайности уверенный в себе, потому что жрёт кабана, а кабан тут тоже жирный, ленивый и уверенный. Вся долина устроена как один большой обед, который сам себя ест по кругу и очень этим доволен. Опасно в ней ровно одно: заснуть.

Я не спал. Я считал.

Восемь кусков. Не семь и не десять, а восемь, потому что в поручении сказано восемь, и если принести семь, то придётся идти ещё раз, а если принести десять, то два лишних никто не возьмёт и не спросит, где ты их взял. Восемь. Вот вам масштаб мира, в котором я жил, когда мне было сорок три.

Некоторые в этом возрасте уже командуют артелью.

Наковальня стоит в распадке и издали похожа на камень, который кто-то уронил и не стал поднимать. Это одно строение, большое и низкое, с кузней внутри. Ни городка, ни посёлка: просто дом, в котором живут все сразу. Крыша у него плоская, уклона ей никто не придумывал, а снег с неё скидывают лопатой те, кому не повезло. Мне везло редко.

Про плоскую крышу я тогда думал, что так и надо. Что дом сверху должен быть плоский, потому что он дом, а не шапка. Мысль о том, что крыше можно придумать уклон и снег будет сходить сам, пришла мне в голову много позже и совсем в другом месте, и когда пришла, я стоял и молча злился на всё своё детство сразу.

А тогда мы просто лазили с лопатами.

Лазили по очереди, очередь вёл Тогнус, вёл он её в голове, а голова у него была занята кузней. Поэтому очередь получалась такая: кто попался на глаза, тот и лезет. Я попадался чаще, чем следовало, потому что жил ближе всех к лестнице и вставал раньше всех. Из этого я вынес первое в жизни знание об устройстве мира: хуже всех живёт тот, кого удобнее всего найти.

У входа висел почтовый ящик. Окованный, с горбатой крышкой, чтобы снег не лежал, и с латунной пастью, отполированной чужими рукавицами до желтизны. Ящик у нас был, а вот банка не было. И конюшни не было. И торгов не было. Ни одного человека, у которого можно купить хоть что-нибудь, кроме эля, а эль наливают и так.

Зато ящик. Ящик стоял.

Я поднял крышку и заглянул внутрь, и внутри, как обычно, лежало ничего.

Стена Крепкую Руку я нашёл там же, где он всегда: на приступке у ящика, спиной к стене, с сумкой на коленях. Сумка была почтовая, тяжёлая и вечно расстёгнутая, потому что застёжку он оторвал ещё до моего рождения и с тех пор всё собирался пришить новую.

— Восемь. — Я поставил мешок ему под ноги. — Считай, если хочешь. Один за пазухой, он мокрый, ты его сразу отложи в сторону, я на нём полдороги сидел.

— Считать я не буду, я тебе верю. — Стен даже не открыл глаза. — А вот что ты его за пазухой нёс, это ты зря сказал. Теперь я про это знаю и обязан думать.

— И что ты про это думаешь?

— Думаю, что перчатки твои теперь тоже с историей. — Он наконец глянул на меня одним глазом. — Ладно. Уговор есть уговор. Держи.

Перчатки были хорошие. Толстые, с двойной ладонью, тёплые до неприличия. Ради них я и лазил по этому склону два дня, потому что своих у меня не было вовсе, а зима в долине не кончается никогда: она просто иногда делает вид, что задумалась.

Уговор был простой. Стен гоняет почту через Туннель, наружу и обратно, круглый год. Стену нужно мясо, потому что мясо в дороге не спрашивает, где ты его взял, и не портится на морозе. У Стена есть лишние перчатки, потому что почта таскает с собой всякое, а перчатки в дороге теряются чаще всего. Восемь кусков за пару. Прейскурант.

Прейскурант держался в головах, потому что записывать его было некому и не на чем. Кружка стоила помощи с дровами. Помощь с дровами стоила полдня. Полдня стоили ровно столько, сколько человек успевает до темна, а темнеет у нас рано, и оттого все расценки в долине выходили слегка щедрее, чем следовало бы. Приезжие этого не понимали и считали нас простаками. Мы этого не объясняли и считали приезжих людьми, у которых длинный день и оттого мало ума.

Я его, кстати, спрашивал, откуда взялась именно восьмёрка.

— Восемь потому, что на семи не наедаешься, а на девяти начинаешь думать, не слишком ли ты хорошо живёшь, — объяснил он мне тогда. — Никогда не живи слишком хорошо, парень. Это очень заметно снаружи.

Такого рода мудрость у Стена шла ровным потоком, и вся она была бесполезная и почему-то верная.

— Слушай. — Он дождался, пока я натяну перчатки и наиграюсь, шевеля пальцами просто из удовольствия. — У меня для тебя тут ещё кое-что. Не от меня.

Он полез в сумку и долго в ней рылся, а рылся он так, будто там сто отделений, хотя отделение там было одно.

Вытащил свёрток. Кожаный, перевязанный, размером с ладонь.

— От Бранстака. Велено отдать, когда принесёшь мясо.

Я взял свёрток и некоторое время держал его молча, потому что мне надо было разобраться с двумя вещами сразу, а я так не умею.

Первая вещь: Бранстак что-то для меня заказал. Из города. Через почту. То есть он про меня подумал, и подумал заранее, и это было приятно настолько, что даже неловко.

Вторая вещь: он велел отдать, когда принесу мясо. Не сегодня. Не когда зайду. А когда принесу мясо.

— А зачем такое условие? Он объяснял?

— Объяснял. — Стен снова закрыл глаза. — Пусть, говорит, парень сначала сделает то, за что взялся, а потом получит то, что не просил. Иначе, говорит, у него в голове всё перепутается, и он решит, будто одно за другое.

— Ну, спасибо. Я, между прочим, стою тут и слушаю, как меня воспитывают заочно.

— Ты стоишь тут и слушаешь бесплатно, а я это выслушивал полчаса и с подробностями, — сказал Стен. — И заметь, я тебе даже не всё пересказал. Он ещё про троггов начал. Раз увидел одного трогга, считай, видел всех, а он мне их двадцать минут описывал, каждого по отдельности.

В свёртке лежала руна.

Я не знал тогда, как она называется, и честно скажу, что мне и не сказали. Просто камень, серый, гладкий, с прорезанным знаком, тёплый на ощупь так, как не бывает тёплым камень, пролежавший неделю в почтовой сумке на морозе.

Я стоял у ящика, в новых перчатках, с мокрым пятном на рубаше, и держал в руках первую вещь в своей жизни, которая была моей не потому, что мне её выдали по списку.

— Красивая, — сказал Стен, не глядя. — Не потеряй.

— Она тёплая. Ты знал, что она тёплая?

— Знал. Я её неделю на пузе вёз. — Он зевнул. — Думал сперва, что у меня жар.

Внутри я пошёл через большие двери, потому что малые с осени не открывались: их подпёрло снегом, подпёрло основательно, и все как-то очень быстро решили, что проще привыкнуть.

По утрам в Наковальне стоит один общий гул. Кто-то ест, кто-то ругается, у дальней стены сушат на верёвках всё, что вчера намокло, и поверх этого идёт кузня. Стены у нас внутренние, тонкие и, если честно, условные. Жить в одном доме с кузней это как жить с очень трудолюбивым соседом, у которого не кончается ни работа, ни сила.

Я прошёл насквозь, огибая тех, кто завтракал, и вышел на жар.

Бранстак Калдер сидел в кузне, хотя жрецу в кузне делать нечего.

Он там сидел всегда. Помогать он не помогал: он сидел, потому что в кузне тепло, а тепло он любил больше, чем приличествует дворфу. Тогнус его не гнал: Тогнус вообще никого не гнал, у него для этого не хватало злости, а хватало только стука.

— А, — сказал Бранстак. — Пришёл.

— Пришёл. Мясо отнёс, свёрток получил. Спасибо. Она правда тёплая или мне кажется?

— Правда. — Он даже обрадовался вопросу. — Она у всех тёплая, кто её взял. У кого не берётся, у того холодная, и такому человеку я её просто не даю, чтобы не расстраивать. Садись, чего стоишь.

Я сел на чурбак и вытянул ноги к горну, и вот тут выяснилась третья вещь за утро, и на этот раз неприятная.

Сапог просил каши.

Не то чтобы неожиданно. Он просил её с осени, я его подшивал два раза и оба раза плохо, потому что шить не умею и учиться не собираюсь. Но сегодня он перестал просить и начал требовать: подошва отошла от носка, и в получившуюся щель бодро набился снег, который теперь таял и делал мне внутри маленькое собственное озеро.

— Ага. — Бранстак проследил мой взгляд и поморщился. — Иди на склад, скажешь, я велел. Тебе положены.

— Что положено?

— Сапоги послушничьи, пара. — Он выговорил это ровно, как читают вслух написанное. — Там их целая полка. Никто не берёт.

Тогда я не спросил почему. Вот это, если хотите знать, была ошибка всей осени.

— Ладно. Схожу. Слушай, я у тебя давно хочу одну вещь выяснить, просто случая не было.

— Спрашивай, пока я сижу. Стоя я хуже отвечаю.

— Вот я послушник. Хожу за тобой третий год, читаю, что дашь, делаю, что скажешь. А что я, собственно, умею? Не в смысле похвастаться. В смысле если сейчас вон там, за стеной, кому-нибудь придавит руку, и он заорёт, и все побегут, то я побегу зачем? Что я сделаю такого, чего не сделает Тогнус с тряпкой и ведром?

Бранстак долго молчал.

Он был добрый дворф, вот в чём беда. Добрым дворфам тяжело даются вопросы, у которых есть неприятный ответ, а он этот ответ знал, и я, в общем, тоже знал, и мы оба сидели и смотрели в горн, как будто там что-то происходило.

— Сейчас ты... — Он потёр колено. — Ладно. Сейчас ты сделаешь немного. Меньше, чем тебе хочется. Ты сможешь закрыть кровь и снять первую боль, а это, парень, не мало, потому что человек с закрытой кровью доживает до утра, а человек с открытой не всегда. Остальное будет делать время. Но ты будешь стоять там и держать руки, и вот это важнее, чем ты сейчас думаешь.

— Почему важнее? Руки, положим, и Тогнус подержит.

— Тогнус подержит и уйдёт к своему молоту, потому что у него молот. — Бранстак поднял палец. — А ты не уйдёшь. У тебя нет молота. У тебя есть только он. И он это поймёт быстрее, чем ты, я тебе обещаю.

— А если не пойму я?

— Тогда будет хуже, но не смертельно. — Бранстак поскрёб бороду. — Смотри. Есть две породы наших. Одна думает, что она лечит. Другая знает, что она держит, пока заживает само. Первая порода красивее, живёт веселее и нравится людям больше, только однажды у неё не получается, и она ломается пополам, потому что решила, будто не получилось у неё. А вторую ничего не ломает. Она с самого начала знала, кто тут главный, и это не она.

— И какая порода я?

— Ты пока никакая. Ты книжку не дочитал.

Я обдумал.

— Звучит как утешение, — сказал я.

— Звучит как устройство дела. — Он мотнул головой. — Утешение это когда я тебе говорю, что ты молодец. Ты, кстати, не молодец, ты полгода не открывал вторую книгу, я про-
верял.

— Она скучная!

— Она скучная, потому что в ней написано, как правильно, а как правильно всегда скучно. Интересно бывает, когда неправильно, и вот тогда за тобой уже приходят. — Он поворошил угли. — И вот ещё что, раз уж мы сидим. Ты держи в голове одну вещь, а лучше запиши.

— Какую?

— Не поворачивайся спиной к Свету. Он может оказаться тем единственным, что однажды тебя спасёт.

Я тогда решил, что это красиво сказано, и всё.

Мне было сорок три года, я сидел с мокрой ногой у чужого горна, и слова «то единственное, что однажды тебя спасёт» звучали для меня примерно как «в Стальгорне, говорят, крыши золотые». Ну, звучали. Мало ли что говорят.

Записывать я, конечно, не стал. У меня и без того было что записывать.

Про список надо объяснить отдельно, иначе дальше не поймёте.

У нас в Наковальне не было никакого порядка на случай беды. Совсем никакого. Если кому-то придавливало руку, начиналось следующее: сначала орал он, потом орали рядом стоящие, потом кто-нибудь бежал искать Бранстака, и вот тут выяснялось, что Бранстак может быть в кузне, а может быть у Грелина, а может быть вообще пошёл посмотреть на озеро, потому что у него такое бывает. И его искали. И находили. Обычно находили.

Я один раз спросил, почему нельзя просто договориться, что в такой-то день до темна за это отвечает такой-то.

Мне ответили, что нас тут семьдесят человек и все на виду.

Ответ, между прочим, честный. Семьдесят человек действительно все на виду. Но беда почему-то всегда случается ровно в ту минуту, когда нужный тебе человек оказывается единственным, кого не видно.

И я завёл себе полоску кожи.

Обрезок, ладони в две, я его выпросил у сапожника, который сам его выкинул. На одной стороне я процарапал имена: кто у нас где живёт, кто когда возвращается, кто у кого спит, если поссорился с женой. Ерунда, конечно. Мальчишеская затея для сорокатрёхлетнего. Но когда прошлой зимой у Хродли начались роды не вовремя, искали не полчаса, а сколько-то там вдохов, потому что я знал, что повитуха ночует у сестры, а сестра живёт с той стороны кузни.

Никто мне за это спасибо не сказал. Меня, если честно, никто про это и не спрашивал: спросили, где повитуха, я сказал, все побежали. Полоску я никому не показывал.

Показывать полоску кожи с чужими именами взрослому дворфу довольно стыдно.

Хотя, если разобраться, стыдного в ней было ровно ноль, а пользы на две зимы вперёд.

Я даже пробовал однажды объяснить это Бранстаку. Зашёл издалека: хорошо бы, говорю, завести общую тетрадь и писать, кто в какой день за это отвечает. Он выслушал очень внимательно, покивал в нужных местах и сказал, что мысль хорошая и надо будет как-нибудь сесть и сделать.

Это было позапрошлой весной.

За мной пришли после обеда.

Прибежал мальчишка от Тогнуса, выпалил, что меня зовёт Грелин, и умчался, не дожидаясь ответа: бегать ему нравилось куда больше, чем разговаривать. Я доел, перемотал ногу потуже и пошёл.

Грелин живёт с северной стороны, в пристройке, которую ему сложили отдельно, когда он приехал. Пристройку у нас звали посольством. Никакого посольства там не было, была одна комната, стол, лежанка и сундук, но название прилипло, а от прилипших названий в Наконьяльне не избавляются: их просто перестают замечать.

Грелин Белобород ждал меня у себя, и ждал он злой.

Злой Грелин это отдельное зрелище. Он старый, он посланник Сената, он видел такое, о чём в долине никто и не слышал, и когда он злится, то не орёт, а делается очень вежливым и начинает выговаривать слова целиком.

— Гизум, — сказал он. — Заходи. Садись. Я хочу поговорить с тобой о троллях.

— О троллях так о троллях. А что тролли?

— Тролли, — выговорил Грелин, — залезли в мой дом.

Я огляделся. Дом стоял.

— Не сегодня. — Он поймал мой взгляд. — Позавчера. Меня не было, я ходил к Туннелю. Они вошли, потоптались, поели, что нашли, и ушли обратно к себе в Форт, довольные, как будто их пригласили. Забрали, разумеется, всё блестящее. Забрали топорик, который мне не нужен. Забрали кружку, о которой я плакать не стану.

Он замолчал и посмотрел в стену.

— И ещё они забрали... Они забрали мой дневник.

— Дневник... — До меня дошло не сразу. — В смысле записи? Служебные?

— В смысле записи. — Голос у него был очень ровный. — Двадцать один год.

Я не сразу сообразил, а когда сообразил, то у меня, честно скажу, слегка похолодело внутри. Двадцать один год человек каждый вечер садился и писал, что за день было. Не для потомков. Просто потому, что если не записать, то оно пропадает, а он посланник Сената и обязан помнить, кто чего когда просил и что ему на это ответили.

И теперь это лежит в пещере у тролля, который не умеет читать и никогда не научится.

— У кого именно? — спросил я.

— У Грик'нира. Его зовут Грик'нир Холодный, и не спрашивай меня почему, я не знаю и знать не хочу. Он у них там за старшего в ближней норе. Блестящее носит на себе, а всё прочее сваливает в кучу.

— То есть дневник, скорее всего, цел.

— То есть дневник, скорее всего, цел. — Грелин развёл руками. — Пока он им не растопил.

Мы посмотрели друг на друга.

— Я схожу, — сказал я.

— Ты? — Грелин впервые за разговор поднял бровь. — Ты у нас, извини, не боец.

— Я не боец. Но я знаю, что если туда пойдёте вы, то мне потом придётся вас тащить обратно, а вы тяжёлый. Возьмите кого-нибудь и меня в придачу. Я хотя бы пригожусь на обратной дороге.

Грелин подумал. Потом сказал, что это первое разумное, что он слышит с позавчерашнего дня, и что пойдём завтра, и что со мной пойдёт Стен, потому что Стен всё равно идёт в ту сторону.

Стен, узнав об этом, сказал, что он, вообще-то, почтальон.

Потом сказал, что дневник это, конечно, святое.

Потом пошёл точить топор.

Вышли затемно.

Ходу до ближней норы часа полтора вверх, а полтора часа вверх по снегу это ровно то время, за которое человек успевает передумать. Я передумал дважды и оба раза промолчал. Стен всю дорогу тоже молчал, а перед самым входом остановился, посмотрел на меня и объяснил, что если он крикнет назад, то назад это назад, а не «сейчас, я только досмотрю».

Про саму нору мне рассказывать особенно нечего, и не потому, что я скромничаю.

Я её толком не видел.

Я видел спину Стена, потому что мне велено было идти за спиной Стена и оттуда не высовываться. Я видел низкий свод, с которого капало. Видел, что тролли внутри мельче, чем я думал, и злее, чем я думал, и что их больше, чем говорил Грелин, и что Стен это понял на два вдоха раньше меня и уже разворачивался.

Дальше был шум.

Я потом много раз пробовал вспомнить тот шум по порядку и ни разу не смог. Помню отдельные куски, и куски не складываются: чьё-то дыхание совсем рядом, хруст, я упал на колено и почему-то очень отчётливо подумал про перчатки, что вот они, новые, а я ими сейчас в этой жиже. Помню, что орал. Не от храбрости. Просто орал, потому что все орали.

Помню, как Стен сказал мне в ухо очень спокойно: «Назад пошёл», и я пошёл назад, и это оказалось единственным, что я в тот день сделал правильно с первого раза.

А потом всё кончилось, и мы стояли снаружи на снегу, и я держал в руках кучу блестящего барахла, из которого мне было нужно ровно одно.

Дневник был цел. Разбух, обложка пошла волнами, но цел.

У Стена была рассечена рука выше запястья.

Я это увидел не сразу, потому что он держал её как обычно, и по нему вообще никогда ничего не поймёшь. Увидел, только когда снег под ним начал делаться розовым.

— Стой! Стой, стой, сядь.

— Да ерунда! До Наковальни дойду.

— До Наковальни ты дойдёшь, я не спорю. Ты и до Стальгорна дойдёшь, ты упрямый. Сядь, я сказал.

И он сел, что меня удивило больше всего за весь день.

Я стянул с него рукав, и посмотрел, и понял, что это действительно ерунда, и что он был прав, и что я сейчас всё равно буду делать то, что умею, потому что мне сорок три года и это первый раз, когда кровь идёт у человека, который сидит и ждёт меня.

Руки у меня тряслись. Об этом обычно не пишут.

Я положил их на рассечённое место, и закрыл глаза, и попросил, и оно пошло.

Не так, как в книжке. В книжке написано ровно и красиво, а на деле это похоже на то, как продавливаешь пробку в бутылку: сначала не идёт, не идёт, не идёт, а потом вдруг проваливается и уже течёт само. Под ладонями стало горячо. Стен дёрнулся, но не отнял руку.

Кровь остановилась.

Я убрал ладони и посмотрел. Края были стянуты, розово и некрасиво, но стянуты. Дойдёт, зарастёт, останется белая полоса.

Мы посидели молча.

— Больно было? — спросил я.

— Горячо. — Стен смотрел на руку. — Как будто кто-то изнутри. — Он повертел рукой, потом сжал и разжал кулак, потом посмотрел на меня. — Слушай, а ты... — Он сжал и разжал кулак ещё раз. — Ты давно так умеешь?

— Не знаю. Сегодня, наверное... Раньше не приходилось, если честно.

— Понятно. — Он подумал. — Тогда я тебе вот что скажу, а ты не зазнавайся. Я в Туннеле хожу восемь лет. Меня рвали трижды. Первый раз я полз, второй раз меня несли, третий я сам дошёл и потом месяц не разгибал спину. И знаешь, чего мне все три раза не хватало?

— Чего?

— Чтобы кто-нибудь сел рядом и не ушёл, пока не станет ясно. — Стен встал и подобрал сумку. — Оно, знаешь, лечит отдельно.

До Наковальни шли долго. Стен всю дорогу говорил, что он в полном порядке, и поэтому шёл медленно.

На середине склона он остановился и стал поправлять сумку, которая в этом не нуждалась. Я тоже остановился и сделал вид, что запыхался.

Долина лежала под нами вся целиком, от Туннеля до озера. Дым из Наковальни шёл прямо вверх. У воды кто-то стоял с удочкой, и я даже знал кто, потому что там всегда стоял один и тот же и всегда с одинаковым успехом.

Ни осады. Ни пожара. Ни дурных знамений. Тролли залезли в дом и утащили кружку, волки жирные, кабанов столько, что охота перестала быть удовольствием. Долина занималась своими делами, и дел у неё было ровно на один день вперёд.

— Пошли. — Стен тронулся первым. — А то тут красиво, и я сейчас сяду.

Дошли уже в темноте. Стен свернул к себе, я к себе, и день по-хорошему должен был на этом кончиться.

Дневник я всё-таки отнёс в тот же вечер, хотя мог бы и утром. Просто не хотелось спать, когда он лежит у меня в изголовье.

Он его взял, положил на стол, разгладил ладонью волнистую обложку и ничего не сказал. Ни спасибо, ни как вы там, ни даже что там с троллями. Просто сидел и гладил.

Я подождал сколько положено и пошёл к двери.

— Гизум.

— Да?

— Я запишу. — Грелин уже тянул к себе перо. — Про сегодня. Что ходили и принесли.

— Ну, запишите.

— Ты не понял. — Он уже открывал дневник и искал чистое. — Я запишу твоё имя. Оно там будет.

Я сказал что-то вроде «спасибо» и вышел, и всю дорогу до своего угла шёл почему-то очень быстро, хотя торопиться было совершенно некуда.

На склад я пошёл на другой день, и пошёл из упрямства: нога за ночь в мокром сапоге сделалась синеватой и требовала уже не починки, а решения.

Склад у нас это чулан за кладовой, и заведует им дворф, у которого, кроме склада, есть ещё три занятия, и склад среди них последнее.

Сапоги мне выдали.

Полка была полная, как и обещали. Кладовщик снял верхнюю пару, не глядя, сверил что-то в своей бумаге, кивнул и пошёл дальше по своим делам, а я сел прямо там и натянул.

Сапоги были велики. Сильно, на два размера, так, что нога в них ездила, как камень в ведре.

Я поднял голову, чтобы сказать об этом, но кладовщика уже не было.

Я посидел, подождал, не вернётся ли. Не вернулся.

Тогда я походил в них по складу, попробовал так, попробовал этак, а в конце концов намотал на ногу тряпку, которую нашёл там же. Стало не лучше, стало по-другому: нога перестала ездить, зато начала преть.

Полка над головой была полная. Шесть или семь пар, аккуратно, носками наружу.

Тогда мне это показалось запасливостью.

Остаток дня я проходил в них по долине и к вечеру почти перестал думать о ногах, потому что человек привыкает ко всему быстрее, чем готов в этом признаться.

Свою полоску кожи я достал вечером, когда все улеглись.

Огарок у меня был короткий, писать при нём неудобно, и царапать надо мелко, потому что кожа кончается, а имён в долине не кончается никогда.

Я нашёл свободное место с краю, рядом с повитухой и её сестрой.

«Стен Крепкая Рука. Правая рука, выше запястья. Зима».

Глава 2. Горячий эль

Сапоги я разношивал третий день.

Способ известен ровно один: ходить в них, пока они не решат, что я им подхожу. Тряпку я перематывал утром и в обед, к вечеру она сбивалась комком под пяткой, и я шёл, кренясь на правый бок, как телега, гружённая не с той стороны. Долину нашу обходят за день дважды. Я обходил.

К озеру вышел после полудня.

Озеро зимой на озеро не похоже вовсе. Белое, ровное, и если бы не камыш по краю, торчащий из наста жёсткими пучками, никто бы и не догадался, что под ногами вода. Рыбак стоял у полыньи на своём месте. Он там стоял с утра, он там стоял всю мою жизнь, и по его спине было видно, что и завтра он будет стоять, и что его это совершенно устраивает.

А на поваленном стволе сидел Талин Зоркий Глаз, положив ружьё на колени, и смотрел вниз, на кабанов.

Кабаны ходили у камыша. Штук десять. Они рыли снег, толкались боками, шли на три шага дальше и опять рыли, и вид у них был такой, будто их тут кормят по расписанию и они кухней слегка недовольны.

— О, жрец пришёл! — Талин подвинулся, не оборачиваясь. — Садись, посмотри со мной. Нет ничего лучше дня охоты на вепря, скажи? Хотя тут их столько, что всё удовольствие уже, по правде говоря, куда-то делось.

— Я не жрец, я послушник. Это, если что, разные вещи, и разница примерно как между кузнецом и тем, кто у кузнеца подметает.

— Ну, послушник. Всё равно садись.

Я сел. Ствол был холодный до звона, и я сразу об этом пожалел, но вставать сразу после того, как сел, глупее, чем сидеть.

— А ты чего не стреляешь? Их вон сколько, и они, я так понимаю, никуда не торопятся.

— В том и беда, что не торопятся. — Талин почесал бороду стволом ружья, чего, мне кажется, делать не следует. — Смотри. Охота бывает тогда, когда ты выбираешь. Пошёл, нашёл, подобрался, взял. А тут выбирать не из чего: их столько, что не ты их находишь, а они об тебя спотыкаются. Я в прошлом месяце одного добыл, не поверишь, сидя. Сидел вот тут, он подошёл и встал боком. Понимаешь? Он мне встал боком.

— И что в этом плохого? По-моему, отлично. Мясо само пришло и повернулось удобной стороной.

— Плохо то, что после этого мне неделю... — Талин пожевал губами, подбирая. — Ну, неделю ничего не хотелось. Вот тебе, к примеру, кто-нибудь платит за то, что ты дышишь? Нет. А если бы платил, ты бы через неделю дышать разлюбил.

Я обдумал. Это была та порода разговора, которую у нас в долине уважают: когда человек говорит вроде бы чушь, а поспорить с ней не выходит.

— И как ты выкручиваешься?

— Правила себе завёл. — Талин оживился так, что даже сел прямо. — Слушай, это хорошая штука, ты оценишь. Я беру не всякого. Я беру третьего.

— В каком смысле третьего?

— В прямом. Идут они цепочкой, я считаю: первый, второй, третий. Третьего беру. Первый и второй пусть идут себе. Иногда третий выходит такой, что и нести тяжело, и мясо жёсткое, ну и что? Уговор есть уговор. Зато мне опять интересно, понимаешь? Мне сорок с чем-то лет, и я, как дурак, сижу тут и считаю кабанов, потому что иначе всё это превращается в работу.

Вот этого я тогда не понял и, честно скажу, слегка позавидовал. У человека всего было столько, что он от избытка выдумывал себе трудности. У меня трудностей хватало и без выдумок, а вот избытка не было ни в чём, включая размер обуви.

Кабаны внизу перестроились и пошли гуськом вдоль камыша.

Талин поднял ружьё, повёл стволом, посчитал одними губами и опустил обратно.

— Второй, — объяснил он с досадой. — Третий отстал, чешется. Он там всегда чешется, я его знаю.

— Слушай, а вот скажи мне лучше вот что. Ты по снегу ходишь целыми днями. Как ты не выматываешься? Я вон полдня хожу, и у меня к вечеру ноги отваливаются.

— А ты как ходишь? Прямо?

— Ну а как ещё? Прямо ведь короче.

— Короче, — согласился Талин. — И вдвое дольше. Ты по кабаньей тропе ходи. Вон, видишь, где они прошли? Там наст сбит и держит. Кабан тяжёлый, ему проваливаться нельзя, он всю жизнь ищет, где твёрже, и находит лучше тебя, потому что он этим занят, а ты головой в другом месте. Иди по его следу и не умничай.

— А если он идёт не туда, куда мне?

— Тогда, парень, у тебя своя дорога и своё горе. — Он развёл руками. — Но ты сперва посмотри. Тропа обычно ведёт к воде или к жратве, а в нашей долине всё интересное и есть либо вода, либо жратва.

Обратно я пошёл по кабаньей тропе, из чистого упрямства проверить.

Дошёл до Наковальни вдвое быстрее и почти не запыхался, а под конец даже разозлился: три года хожу по этому снегу как придурок, проваливаясь по колено, и никто не сказал. Хотя, если разобраться, никто и не был обязан. У нас в долине знание не прячут, его просто никому не приходит в голову передать: все же и так знают.

Наковальню в этот час слышно раньше, чем видно. Тогнус к вечеру бьёт реже и тяжелее, дым идёт прямо вверх, и вдоль стены на верёвках висит всё, что за день намокло, а намочает у нас всё.

Внутри я вошёл через большие двери, как всегда, и меня немедленно перехватили.

Нори Прайддрифт держал в Наковальне угол у самой кузни: две бочки, лавка, котелок и место на камне рядом с горном, где у него всегда стояло что-нибудь тёплое. Другого постоянного жара в доме не было, и потому эль у нас грелся там же, где ковали подковы. Тогнус ворчал на это лет пятнадцать. За пятнадцать лет он ни разу не сказал «убери», а Нори ни разу не сказал «уберу», и оба они считали этот разговор законченным.

Торговли в Наковальне не было никакой, а Нори был. Такое вот у нас устройство.

— Стой где стоишь! — Нори выставил ладонь. — Ты мне сейчас нужен, а искать тебя я не пойду, у меня котёл.

— Стою. Что случилось-то?

— Мальчишка Тогнуса с крыши упал. Не насмерть, ты не пугайся, он на кучу упал, которую сам же и накидал. Нога.

Ногу я посмотрел ещё утром. Мальчишка полез с лопатой, поскользнулся на собственной работе и приземлился в сугроб под стеной, отчего пострадал в основном сустав и полностью пострадала гордость. Я сел рядом, подержал ладони, пока не отпустило, и велел два дня не бегать. Он согласился, потому что был белый и потный, а через час я видел, как он идёт через двор, стараясь наступать ровно и с очень честным лицом.

— Посмотрел я его ногу, Нори. Он до конца недели не бегун, и не спорь со мной, я тут единственный, кто это может сказать.

— Да я не спорю! Я на другое напирю. — Нори снял с камня кружку, обмотанную тряпицей, и поставил на лавку. — Он у меня бегал. Каждый день. А теперь не бегают, и что мне с этим делать, я не придумал.

Кружка была глиняная, толстая, с отбитым краем, и из неё шёл пар.

— Это что?

— Это Дурнану Дровосеку. Кружка горячего в день, уплачено вперёд за месяц. — Нори посмотрел на меня выжидающе. — И до делянки полчаса, если бегом.

Я сел на лавку и вытянул ноги.

— погоди. Ты хочешь сказать, что человеку носят выпить за полчаса ходьбы?

— За полчаса бега, — поправил Нори. — Шагом это выходит час с небольшим, и шагом получается не эль, а тёплая вода с намёком.

— Так пусть он себе там подогреет. Он же в лесу! У него дров, извини, бесконечно много, он на них стоит.

Нори посмотрел на меня с таким удовольствием, с каким смотрят на человека, который сам, своими руками, лезет в приготовленную для него яму.

— Вот. Вот теперь слушай внимательно, потому что тут вся соль. Дурнан огня в лесу не разводит. Дурнану огня в лесу нельзя.

— Почему нельзя?

— Потому что он лесоруб. — Нори развёл руками. — Он валит лес. Он в нём стоит целый день, вокруг него щепы, кора и сухой лапник, и если он один раз в жизни недосмотрит, то у нас не будет ни делянки, ни леса, ни, может быть, половины долины. Это не он придумал и не я. Это так с тех пор, как тут вообще начали рубить.

— И что, за всю зиму ни разу? Ни погреться, ни поесть горячего?

— Ни разу. Поесть он приходит домой к темноте. — Нори взял кружку и повернул её, чтобы я видел пар. — А днём у него вот это. Один раз в день, полчаса на дорогу. Человек, который живёт в дровах и не имеет права... — Он поставил кружку обратно на камень. — Я, когда первый раз про это подумал, полночи не спал.

Тут я должен сказать одну вещь про себя, и она мне не льстит.

Я в этот момент забыл и про ногу, и про сапоги, и вообще про всё. Мне показали устройство, и устройство оказалось честным до звона: запрет настоящий, причина настоящая, и из них двоих вытекает третье, совершенно нелепое с виду, а на самом деле единственно возможное. Кто-то должен бежать по снегу с кружкой. Иначе никак.

— Так, — сказал я. — Крышка у неё есть?

— Крышки нет.

— Ну давай накроем чем-нибудь. Блюдцем, дощечкой, я не знаю. Тарелкой.

— Нечем накрывать, — с некоторым даже торжеством отозвался Нори. — Ты у нас поищи вещь, у которой одна работа: лежать на другой вещи. Не найдёшь. У нас таких вещей не водится.

И ведь правда не водилось. Я потом специально вспоминал и не вспомнил ни одной.

— Ладно. А почему две цены? Ты сказал, уплачено за месяц, а сколько?

— Вдвое против кружки. Одна цена за эль, вторая за ноги. — Нори пожал плечами. — Ноги-то не мои.

Я взял кружку.

Первое, что я понял, было то, что я идиот, потому что взял её голой рукой, а она была именно такой горячей, какой обещала быть. Второе я понял шагов через двадцать, уже снаружи: нести быстро и нести ровно нельзя одновременно. Совсем. Это две разные задачи, и они друг друга ненавидят.

Я попробовал прижать её к груди. Обжётся сквозь рубаху.

Попробовал на вытянутой руке. Через сотню шагов рука начала отваливаться, а эль принялся ходить по кружке волной и выплёскиваться ровно на перчатку, на ту самую, за которую я две зимы таскал волчатину.

В конце концов я нашёл, как надо: держать перед собой обеими руками, локти прижать к бокам, шаг короткий и частый, и всё это по кабаньей тропе, потому что на тропе наст держит и ногу не проваливает. Талин, между прочим, был прав до последнего слова. Я бежал по кабаньему следу с кружкой горячего эля, злой, сосредоточенный и совершенно счастливый, и это было первое дело в моей жизни, у которого был срок.

А потом на тропу сбоку вышел Стен Крепкая Рука.

Он шёл к дому с пустой сумкой, увидел меня, и я даже успел заметить, как у него меняется лицо.

А потом он развернулся и побежал рядом.

— Где? — выдохнул он.

— Что где?

— Кто?!

Я, дурак, не сообразил ответить сразу, потому что берёг дыхание, а Стен из этого сделал единственный возможный вывод и прибавил ходу.

Тут надо объяснить, иначе дальше будет непонятно.

У нас в долине нет ни колокола, ни рожка, ни какого угодно другого способа сказать всем сразу, что случилась беда. Ничего нет. Есть семьдесят человек, которые все на виду, и есть один жрец на всю долину, а с недавних пор полтора. И поэтому у нас сложился знак, которого никто не заводил и о котором никто не договаривался.

Жрец бежит.

Жрец у нас вообще никуда не торопится. Жрец ходит медленно, потому что ему некуда, и это знают все, и это видно с любого склона. А если жрец бежит, значит, кому-то придавило, кого-то завалило, кто-то тонет, у кого-то начались роды не вовремя, и надо бежать туда же, потому что там будут нужны руки.

Знак работал прекрасно. У него был ровно один изъян: он не сообщал, что случилось и где. Он сообщал только, что уже поздно разговаривать.

От кузни к нам присоединились двое. Потом сапожник, в фартуке и с шилом в руке, которое он так и не выпустил. Потом мужик с лопатой, и вот про него я до сих пор не понимаю, зачем он взял лопату, но взял он её крепко и нёс всю дорогу. Потом кто-то ещё, я не оборачивался. Никто не задал ни одного вопроса.

И это, между прочим, тоже механика, а не глупость: на бегу вопрос стоит дорого. Пока ты его задал и выслушал ответ, ты потерял двадцать шагов, а из ответа всё равно ничего не поймёшь, потому что отвечающий бежит.

Последним из посольства вышел Грелин Белобород.

Бегать посланнику Сената не по чину, а не пойти было нельзя, и он нашёл выход: пошёл очень быстрым шагом, прямой как палка, с абсолютно каменным лицом. Он нас не догнал. Но и не отстал по-настоящему, что в его возрасте, я считаю, достойно отдельного уважения.

Так мы и добежали до делянки: я впереди, с кружкой на вытянутых руках, за мной почтальон, двое от кузни, сапожник с шилом, мужик с лопатой и ещё кто-то, а позади всех, шагом, но неотвратно, посланник Сената.

Дурнан Дровосек стоял на расчищенном пятаке и как раз опускал топор.

Он посмотрел на нас.

Он опустил топор второй раз, теперь уже на колоду, и оставил его там.

— Кого несут? — спросил он.

Я подошёл и протянул ему кружку.

Пар от неё шёл ровно, густо и очень нахально.

Секунды три ничего не происходило вообще. Потом Стен сел прямо в снег и начал хохотать, и хохотал он так, что я испугался за его руку, а следом заржали от кузни, а сапожник хотел что-то сказать, но не смог и только махал шилом. Мужик с лопатой смеяться не стал. Он

оперся на неё и смотрел на нас всех с выражением человека, который окончательно убедился в том, о чём давно догадывался.

А Дурнан кружку взял.

И не выпил.

Он стянул рукавицы, зубами, по одной, взял её в обе ладони и стоял так, опустив голову, довольно долго. Руки у него были красные, в трещинах, с чёрной каймой на костяшках, и он грел их и не торопился, и делянка стояла тихо, и с ветки где-то в стороне сошёл снег и упал мягко.

Потом он выпил всё разом, в четыре глотка.

— Горячий, — сказал он. — Он у меня обычно... ну, тёплый доходит. Тёплый это тоже хорошо, я не жалуюсь. А сегодня горячий. Молодец, парень.

За всю дорогу обратно, а шли мы уже вместе и не спеша, мне не сказали и десятой доли того, что я услышал за эти два слова.

По пути выяснились подробности.

Двое от кузни решили, что провалились под лёд у полыньи. Сапожник был уверен, что завалило в старой выработке, и знал даже кого. Стен, как выяснилось, сразу подумал на Грелина, потому что тот с утра ходил один и вообще старый, и, когда Грелин нас нагнал, Стен ему об этом честно доложил, за что был назван болваном на очень чистом и очень вежливом дворфийском.

Мужик с лопатой не сказал, что думал он. Мне до сих пор интересно.

А потом кто-то сзади сказал, что надо бы завести какой-нибудь знак. Ну, свисток. Или два удара в било против одного, чтобы отличать беду от того, что кто-то просто торопится.

Все дружно согласились, что мысль хорошая.

Кружку я отнёс обратно тем же вечером, и вот тут меня ждало открытие, от которого я хохотал уже сам, один, посреди двора.

Я спросил у Нори, можно ли назад идти шагом.

— Шагом, шагом, — удивился он. — Она же пустая.

То же расстояние. Тот же снег. Тот же я, те же сапоги, та же тропа и та же кружка в руках. В одну сторону это дело, за которое платят двойную цену и ради которого полдолины бросает работу, а в другую сторону это просто дорога, по которой человек идёт и думает о своём.

Вся разница была в том, что внутри.

Бранстак нашёл меня на другое утро сам, чего за ним обычно не водится.

Я сидел в кузне, у горна, на своём чурбаке, и сушил перчатку, которую накануне облил элем, и от неё шёл сладковатый пивной дух, и Тогнус уже дважды прошёл мимо и дважды повёл носом. Рядом на камне стоял котелок Нори. Наковальня жила обычным утренним гулом.

— Ага, — сказал Бранстак, усаживаясь. — Вот ты где. Сиди, сиди.

— Сижу. Ты, я так понимаю, уже всё слышал.

— Я, парень, слышал четыре разных рассказа, и ни в одном из них ты не выглядел так глупо, как ты сейчас думаешь. — Он протянул ладони к огню. — За тобой вчера бежала половина дома.

— Ну да. Бежала. И зря бежала, вот что обидно.

— Не зря. — Бранстак повернулся ко мне. — Ты слушай, что я тебе говорю, а не что тебе стыдно. Они бежали не к тебе. Они бежали за тобой. Разница огромная. К человеку бегут, когда с ним беда. За человеком бегут, когда думают, что он знает куда.

Я открыл рот и закрыл обратно.

— Так я же не знал... — Мне пришлось начать заново. — Я не знал куда, Бранстак. Я нёс пиво. Я всю дорогу думал только про то, чтобы не расплескать.

— Это ты знал. А они не знали, и им хватило того, что ты бежишь. — Он поскрёб бороду и довольно долго молчал. — Вот на этом месте я тебе и скажу то, ради чего пришёл. Ты только не пугайся сразу, ладно? Дальше я тебя... Дальше я тебя не научу.

В кузне было жарко, и я всё равно почувствовал, как у меня похолодели уши.

— В смысле не научишь? Ты меня выгоняешь?

— Я тебя отправляю. Это, вообще-то, разные вещи, и разница примерно как между кузнецом и тем, кто у кузнеца подметает.

Он, зараза, слышал, как я это сказал Талину. Или сам придумал. С Бранстаком никогда нельзя было понять, и он этим пользовался.

— Ты умеешь закрыть кровь и снять первую боль, — продолжил он спокойно. — Это я тебе дал, и это всё, что у меня есть. Больше во мне нет ничего, парень. Я не кокетничаю. Я двадцать лет сижу в этой кузне, потому что тут тепло и потому что меня тут хватает на всё, что тут бывает. Мне отсюда было куда пойти. Я не пошёл. Это не хвастовство и не жалоба, это просто место, где я стою.

— И что мне теперь делать?

— Идти в Каранос. Там сидит Максан Анвол, он наш, он жрец, и он старше меня по делу. Найдёшь его и поговоришь.

Я ждал продолжения. Продолжения не было.

— И всё?

— И всё.

— Погоди, погоди. — Я даже встал. — Ты меня отправляешь через Туннель, зимой, в город, которого я в глаза не видел, и всё задание в том, чтобы дойти и поздороваться? Ни принести, ни отнести, ни сделать?

— Именно так. — Брантак смотрел на огонь и был очень доволен. — Потому что дойти и есть задание. Дорога сама всё и делает. Тот, кто вышел, и тот, кто дошёл, это два разных дворфа, и Максан будет разговаривать со вторым. Мне для этого делать ничего не надо, и тебе тоже. Надо просто дойти.

Я сел обратно.

Он был прав, и я это чувствовал, и мне это не нравилось. Всю жизнь мне давали поручения, у которых был счёт: восемь кусков, четырнадцать троллей, один дневник. Счёт я понимал. Счёт можно проверить и предъявить. А тут мне выдали задание, в котором проверять было нечего, кроме меня самого, и предъявить, если что, тоже.

— Хорошо. Тогда напиши ему.

— Что написать?

— Что я иду! — Я даже руками показал, хотя показывать там было нечего. — Что от тебя. Что ты меня три года учил и отправил. Слушай, ну неудобно же: я приду, а он меня знать не знает, и кто я такой ему объяснять буду я сам, а это, между нами, самый плохой способ.

— И правда неудобно, — согласился Брантак. — Напишу.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. — Он крякнул, встал, притащил от стены доску и положил на колени. — Отдам Стену, он послезавтра идёт с почтой. Почта дойдёт раньше тебя, ты же пешком, а Стен по Туннелю бегаёт как ошпаренный. Так что тебя там будут ждать, не переживай ты.

Он придвинул к себе доску и разгладил на ней лист.

Я успокоился и пошёл собирать мешок.

Со Стеном мы просидели полвечера, и это был самый полезный разговор за всю мою жизнь до того дня.

Он пришёл ко мне сам, с рукой, на которой уже наметилась белая полоса выше запястья, сел на пол у моей лежанки и начал с того, что достал из сумки хлеб, разломил и половину отдал мне, а вторую съел сам, и всё это молча, что у Стена означает высшую степень серьёзности.

— Про Туннель тебе кто-нибудь рассказывал?

— В общих чертах. Там троггы.

— В общих чертах, — повторил он с отвращением. — В общих чертах там троггы, а на деле там всё довольно просто, если знать. Троггов тебе бояться не надо. Тебе надо решить один раз и заранее, что ты делаешь. Потому что решать там будет поздно.

— И какие у меня варианты?

— Два. Бежишь во весь дух и не оглядываешься. Или встаёшь и рубишься. Всё, третьего нет. — Он поднял палец. — А третье как раз все и выбирают. Третье это когда человек бежит, потом решает посмотреть, потом решает, что вроде успеваешь, потом опять бежит. Вот его и достают. Не потому что медленный, а потому что дважды передумал.

— Мне, положим, рубиться нечем.

— Значит, у тебя вариантов не два, а один, и это, я тебе скажу, большое облегчение! — Стен впервые за вечер повеселел. — Ты не представляешь, как оно помогает, когда выбора нет.

Он объяснил остальное. Что троггы держатся камня и идут на звук, поэтому не надо ни орать, ни ронять. Что они не преследуют долго, потому что им лень и потому что им и так неплохо. Что через Туннель ходят каждую неделю, что он сам ходит восемь лет и его рвали трижды, о чём я, впрочем, уже слышал. Что тропы там нет никакой и ничей след мне не поможет, и вот это меня почему-то задело больше всего остального.

— Я бы с тобой пошёл, — сказал он под конец, — да мне послезавтра. Почта идёт по дням, а не когда я... Ну ты понял. Не когда я захочу.

— Ничего. Я дойду, ты за меня не бойся.

— Дойдёшь. — Стен встал и потянулся. — Ты, главное, помни: там ты бежишь не за кружкой. Там за тобой никто не побежит.

Он ушёл, а я ещё долго сидел и складывал мешок, раскладывал и складывал заново, потому что складывать было нечего, а спать не хотелось совершенно. Гул в доме затих часам к одиннадцати, сначала перестали ругаться у дальней стены, потом перестал стучать Тогнус, и остался только один звук: капало с веревок, на которых сушилось мокрое. Под этот звук я и уснул, и, честно скажу, спал отлично. На что уж я умею себя накрутить, а тут не сумел.

Вышел я затемно.

Наковальня спала, только от кузни тянуло теплом, потому что горн у Тогнуса не гаснет никогда, и в этом есть что-то успокоительное, о чём не думаешь, пока не уходишь. Провожать меня никто не вышел, и правильно: прощаться в долине не принято, у нас все всё время куда-нибудь идут и возвращаются к ужину.

Мешок был лёгкий до неприличия. Хлеб, вторая рубаха, огарок, запасная тряпка на ногу. Руна лежала за пазухой, тёплая, как ей и положено.

У выхода я по привычке взялся за крышку почтового ящика.

Крышка примёрзла. Я подёргал, она не пошла, и я не стал отдирать.

До Туннеля от нас часа два, и все два часа я шёл по кабаньей тропе, которая, как и обещал Талин, вела ровно туда, куда мне было нужно, а потом свернула к воде и бросила меня одного на целине.

Туннель начинается там, где долина сходится в горло.

Стены сдвигаются, ветер меняет голос и начинает гудеть низко, снег под ногами кончается и делается камнем, и сразу за поворотом становится темнее, чем положено быть утром. Пахнет мокрым камнем. Идти там можно двоим в ряд, местами одному.

Я постоял у входа ровно столько, сколько надо, чтобы не стоять слишком долго.

Тропы не было. Никакой чужой след мне тут помочь не мог, и я вдруг очень ясно понял, что именно это Стен и пытался сказать, а я не расслышал.

Я перемотал тряпку потуже и притопнул, проверяя.

Подтянул мешок повыше, чтобы не бил по спине.

И побежал.

Глава 3. Книга дежурств

Бежать у меня вышло шагов сорок.

Потом под сапогом поехал камень, я приложился коленом, и всё моё представление о том, как ходят через Туннель, кончилось там же, на четвёртом десятке шагов. Бегать в темноте нельзя. Можно быстро идти, ведя левой рукой по стене, и врать себе, что это и есть бег. Внутри при этом колотится ровно так, будто ты и правда несёшься во весь дух, и легче от этого, честно скажу, не делается ни на волос.

Стены там мокрые, и вот к этому меня никто не готовил. Снаружи зима, а камень внутри потеет, как спина у того, кто долго нёс тяжёлое. Ладонь после него не отогревалась потом полчаса.

Троггов я услышал задолго до того, как увидел.

Они не рычат и не воют, они гремят. По камню идёт что-то тяжёлое, задевает стену, роняет, поднимает, снова роняет и при этом дышит, как кузнечный мех. Стен говорил, что они держатся камня и идут на звук. Я стоял в мокрой темноте и очень подробно соображал, что весь звук в этом Туннеле сейчас произвожу я один: дышу, скриплю мешком и топчусь мокрым сапогом.

Ниша нашлась слева, и я в неё влез.

Не гордо влез, скажем прямо. Я влез туда так, как влезает в щель между бочками кот, которому наступили на хвост, и сидел в ней, обняв колени, пока мимо проходили трое. Прошли они в двух шагах. От них пахло камнем, мокрой шерстью и чем-то кислым, и вот этот кислый дух я потом узнавал сразу, всегда и с удовольствием ровно нулевым.

Один остановился.

Он стоял и слушал, и я слушал, как он слушает, и в голове у меня было пусто, как в мешке у нищего. Ни молитвы, ни ужаса, ни мыслей о смысле. Пусто. Только очень спокойная и очень посторонняя мысль о том, что тряпка на правой ноге опять сбилась комком и что распрямить её сейчас никак нельзя.

Потом ему стало скучно.

Стен и про это говорил: долго они не держатся, потому что им лень и потому что им и так неплохо. Когда я услышал, как эта троица гремит уже за поворотом, у меня затряслись руки, и трясло их долго, и, что обидно, не тогда, когда было надо, а уже потом, в тишине, когда трястись было решительно незачем.

Дальше я шёл быстро.

Второй раз меня заметили, и вот тут я побежал по-настоящему, и никакого умения в этом не было, было одно везение и десять шагов форы. Гнались за мной недолго и как-то без души. Я вылетел на свет, пробежал ещё сколько-то по инерции, потому что остановиться было страшнее, чем бежать, и сел на первый же камень, который подвернулся.

Первое, что я сделал снаружи, это сел.

Спина мокрая насквозь, ноги чужие, мешок съехал на бок. Я сидел, дышал и разглядывал собственные руки, которые всё ещё не желали слушаться, и никаких больших мыслей у меня в тот момент не было ни одной. Я потом много раз слышал, как люди рассказывают, что чувствовали, выходя в большой мир. Врут. Ничего они не чувствовали. Они сидели и дышали.

Мир, впрочем, действительно был.

Он лежал внизу и в стороны, и первое, что меня в нём поразило, было расстояние. В долине у нас всё близко: от Наковальни до озера полчаса, до делянки час, дальше нельзя, потому что дальше некуда. А тут склон уходил вниз и не кончался, за ним шёл ещё один, за тем ещё, и всё это было белое, и по всему этому гулял ветер, которому никто не мешал гулять.

Я, если честно, постоял и подышал минуты три просто так.

А потом пошёл вниз, потому что стоять и восхищаться на морозе можно, только если тебе есть куда потом прийти греться.

Дорога началась не сразу.

Сперва под ногами была тропа, каких я видел сотню: кто-то прошёл, за ним прошёл второй, третий пошёл по их следу, и получилась тропа. А потом тропа влилась в нечто, и это нечто было расчищено.

Расчищено, понимаете? Не протоптано. Кто-то взял лопату и убрал с неё снег, и убрал не с середины, где ходят, а до самого края, где никто не ходит.

Я встал и минуты две стоял над ней как дурак.

У нас в долине дорога это то место, где вчера прошли двое. Тут же лежала полоса в три телеги шириной, укатанная полозьями до блеска, с обочиной, отваленной ровным валом, и по обе стороны в этот вал были воткнуты вешки. Прутья в мой рост, у каждого сверху пучок соломы, перехваченный лыком.

Соломы я сперва не понял. Потом отошёл вдоль дороги, обернулся и понял.

Вешки стояли так, что от одной было видно следующую. Видно уверенно, без всякого «кажется». Всаживали их, стало быть, по уму: каждую поставили там, где она понадобится человеку в метель, дошедшему до предыдущей. Солома для того и была, чтобы её различали, когда белым забьёт всё остальное.

Я, разумеется, проверил. Дошёл до вешки, встал вплотную, зажмурился, повернулся и открыл глаза.

Видно. Работает.

И вот это меня почему-то развеселило больше, чем всё, что случилось за утро. Кто-то ведь сел и подумал. Кто-то посчитал шаги и прикинул, сколько человек видит в метель, и решил, что солома лучше тряпки, потому что тряпку сдует, а солома распушится. Потом кто-то другой это всё воткнул, а третий сходил проверил. И никто из них никогда меня не увидит и не узнает, что я тут стоял с зажмуренными глазами и радовался их работе.

Дорога, к слову, шла ровно одна. Свернуть с неё было решительно некуда, так что всё моё умение читать следы, которым я так гордился три дня назад, тут не стоило ни куска мяса.

К полудню я сел передохнуть на камень у обочины.

Хлеб был каменный, руна за пазухой тёплая, и мне на радостях пришлось в голову достать полоску кожи.

Дурная, вообще-то, привычка. Обрезок ладони в две, весь исцарапанный по одной стороне, и на нём мелко: кто у нас где живёт, кто когда возвращается, кто у кого ночует. Читать его на дороге было незачем, там всё равно ничего не менялось. Я и читал не для дела.

«Стен Крепкая Рука. Почта, послезавтра. Через Туннель, один».

«Талин Зоркий Глаз. Озеро. Всю зиму».

«Мальчишка Тогнуса. Нога. До конца недели не бегун».

Полоска работала как всегда: я провёл по ней пальцем и точно знал, где сейчас семьдесят человек и что с ними. Ни одному из этих семидесяти от моего знания сегодня не было ни жарко, ни холодно, потому что я от них ушёл, а знание осталось при мне.

Тут бы мне и сообразить кое-что важное, но я не сообразил, а убрал полоску за пазуху и пошёл дальше.

Пехотинца я увидел издали, потому что он стоял на холме и не собирался с него слезать.

Здоровый. Не то чтобы выше меня, дворф дворфу в росте не соперник, а вот в ширине он был примерно как двое таких, как я, и стоял с ружьём на сгибе локтя, и смотрел поверх дороги, туда, где горы. Я поднялся к нему, потому что мне нужно было спросить, и потому что человек, который стоит на холме один, чаще всего не против поговорить.

— Далеко ли ещё до Караноса? Я от Холодной долины... то есть я с рассвета иду, если это вам о чём-нибудь говорит.

— От долины? — Он оглядел меня сверху донизу, задержался на сапогах и никак это не прокомментировал, за что ему отдельное спасибо. — Часа полтора тебе. Дорога одна, свернуть некуда, а если и свернёшь, то вернёшься, тут все возвращаются. Ты, главное, не лезь налево, к хребту.

— А что налево? Волки?

— Хуже. Тролли Мерзлогризов, и они там не гуляют, они там живут. Волки... да что волки, волки зимой сытые, им до тебя дела нет. — Он переложил ружьё на другую руку. — Я тут одиннадцатую зиму стою, парень, и за одиннадцать зим я на этой дороге видел всё, что по ней ходит. Волки не спускаются. Тролли спускаются.

Я спросил, стоит ли он тут один и меняют ли его. Он ответил, что меняют, конечно меняют, за кого я его принимаю, и назвал часы, и назвал имя того, кто приходит после, и сказал, что тот вечно опаздывает на четверть часа, потому что живёт дальше всех, а поднимается позже всех.

— Ты бы шёл, — сказал он под конец. — Постоишь тут ещё немного, и я тебя заговорю, а заговорив, начну перечислять, кто у нас где стоит и с какого часа, и на этом день у нас с тобой и кончится.

Я и пошёл.

Дорога после холма пошла под уклон, ветер сдуло куда-то за спину, и последний час я шёл уже без всякого удовольствия, потому что ноге к тому времени стало совсем нехорошо, а хлеб кончился ещё на камне.

К Караносу я вышел злой, голодный и с мокрой правой ногой.

Сапоги. Вот объясните мне кто-нибудь: с какой такой радости послушнику выдают сапоги на два размера больше и говорят, что нога ещё вырастет? Мне сорок три. Нога у меня выросла, отросла и, честно сказать, уже начала потихоньку уставать от жизни. Но в Наковальне есть склад, на складе опись, а в описи стоит «сапоги послушничьи, пара». Про размер там не написано ничего. А раз не написано, то размера, стало быть, и не существует в природе.

Так что первый настоящий город в своей жизни я увидел, всерьёз обдумывая ересь.

Городок сидел в распадке и дымил тремя трубами сразу. Кузня. Что-то приземистое и очень занятое, с трубами не по росту дому. И длинное здание посередине, над которым дым шёл белый и пах едой. К третьей трубе я и повернул, потому что ересь ересью, а завтракал я вчера.

Крыши тут были покатые до неприличия. Почти отвесные, я бы сказал. Первое, что подумалось: красоваться незачем, и так холодно. Потом с ближней крыши сошёл снег, весь разом, полтелеги, и лёг мягкой горкой ровно там, где я собирался пройти. Вот тогда я про крыши всё понял и зауважал того, кто их придумал.

Из кузни било молотом. Не быстро и не старательно, а так, как бьют человек и подмастерье, которые к обеду доделают и знают об этом. Этот стук в Караносе слышно везде, я потом проверял: хоть у мастерской, хоть за таверной. Городок живёт под него, как под часы.

По дороге спросил у мужика с тачкой, где тут садятся на грифона до Стальгорна.

Мужик поставил тачку. Мужик посмотрел на меня. Так смотрят на говорящую овцу: без злобы, но и без особой веры в то, что разговор будет иметь продолжение.

— Ногами, — сказал он наконец. — До Стальгорна у нас ходят ногами, парень. Вон дорога, она тут одна, не заблудишься. Часа четыре, если не садиться.

— А если садиться? Я, честно говоря, с рассвета на ногах, и нога у меня одна рабочая.

— А если садиться, то к вечеру. А если садиться два раза, то к завтраму, и хорошо, если в Стальгорне, а не под кустом. — Он взялся за тачку. — Ты, главное, не садись.

У входа в «Громоварку» стоял почтовый ящик. Обычный, окованный, с горбатой крышкой, чтобы снег не лежал, и с латунной пастью, отполированной до желтизны чужими рукавицами.

Я поднял крышку и посмотрел внутрь.

Незачем. Мне некому писать и, соответственно, неоткуда получать. Отец умер, когда я был мелкий, мать умерла позже, а Бранстак, как мы уже выяснили, не пишет даже туда, куда обязан по службе. Ящик был пустой, чему я не удивился ни на волос.

И всё равно поднял. Есть вещи, которые делаешь не потому, что надеешься, а потому, что руки помнят, как это делается.

Внутри пахло так, что я на секунду простил Бранстаку сапоги.

Трактирщик Белм стоял за стойкой и тёр её тряпкой. Я потом много раз проходил через Каранос и ни разу не видел, чтобы он делал что-то другое. Стойка была вытерта до того состояния, когда дерево уже не темнеет, а светится, и тереть её дальше не имело смысла ни малейшего, но Белм тёр, потому что стоять за стойкой просто так у трактирщиков не принято.

Максана Анвола я нашёл там же, за столом у окна, и первые полминуты был уверен, что мне показали не того. Я шёл к старцу. Я получил жилистого дворфа в кожаном фартуке, который сидел над раскрытой книгой и слюнявил карандаш.

— Я от Бранстака, — сказал я. — Из Наковальни. Послушник, если вам это о чём-нибудь говорит.

— Угу. От Бранстака у нас с осени никто не приходил, я уж думал, он там помер. Имя?

— Гизум. Гизум, сын Дургана, если по-полному.

Он полистал назад, потом вперёд, потом опять назад, и с каждым разом мне нравилось всё меньше.

— Нету тебя. Ни на этой странице, ни на прошлой, ни вообще нигде.

— В смысле нету? Меня Бранстак прислал! Он мне сапоги выдал, он мне дорогу объяснил, он сказал, вас предупредят!

— Бранстак прислал. — Максан наконец поднял голову. — А написать забыл. Он всю жизнь так: пришлёт и забудет. Один раз прислал вендигу, представляешь? Ну не прислал, конечно, а не написал, что идёт вендигу, и мы полдня выясняли, кто у нас такой Хролдиг и почему он мохнатый.

Он развернул книгу ко мне. Страница была разлинована в четыре столбца, и почерк в ней стоял такой ровный, что мне стало неловко за свой.

— Что это?

— Это книга. Ты разве сам не видишь?

— Я вижу, что книга. Я спрашиваю, что в ней такого, что вы её разворачиваете ко мне, как чертёж.

— Ну хоть спрашиваешь, и то дело. — Он ткнул карандашом. — Вот строка. «Тогнус, кузня, от рассвета до темна». Придавит у Тогнуса в кузне человека, побегут не к тому, кто ближе. Побегут к тому, кто в этой строке стоит. Понимаешь разницу?

— Не очень, если честно. Разве не всё равно, кто прибежит, лишь бы прибежал быстро?

— А разница в том, что тот, кто ближе, может быть пьян. Может быть в Стальгорне. Может быть вообще не жрец, а просто добрый человек, от которого в такую минуту пользы ноль. А строка, она строка и есть. Она не пьёт и в Стальгорн не ходит.

— И что, помогает? Или это просто чтобы бумага не пустовала и начальству было что показать?

— Мешает. — Он снова взялся за карандаш. — Помогает, когда её ведут. Мешает, когда её ведут кое-как. Я веду двенадцать лет, и за двенадцать лет она у меня соврала один раз. Один раз, парень. Я до сих пор помню, кому именно.

И вот тут со мной случилось нехорошее.

Я всю дорогу шёл злой. На сапоги, на Бранстака, на опись, на снег и вообще на устройство мира. А посмотрел в эту разлинованную книжку с загнутыми углами и поймал себя на том,

что мне интересно. До зуда интересно. Мне показали механизм, и механизм оказался умнее, чем выглядел, а я такое люблю больше, чем следует любить жрецу.

— Записывайте меня. Прямо сейчас, в любую строку, какая у вас пустая.

— Не могу, и не проси. Ты послушник, а строка бывает у того, кто может стоять один. Пустых у меня, к слову, нет ни одной, это тебе не про меня, это про Каранос.

— А как стать тем, кто может стоять один? Что для этого делают?

— Стоят один. — Максан пожал плечами. — Другого способа не придумали, парень, а уж пробовали. Обычно после первого раза сразу видно, вышло или не вышло, и видно не тебе, а как раз мне.

Я сел у двери и стянул правый сапог. Носок был бурый.

— Сотрёшь до кости, ходить не сможешь, — сказали сбоку. — А не сможешь ходить, кто тебя кормить будет? Свет?

Дворф был мелкий и до крайности серьёзный. Куртка на нём была хорошая, но сидела так, будто он в ней спал, и не одну ночь.

— Марлет Барливар. Не здешний, из Посёлка Пивоваров, это на льду, к северу. Слыхал?

— Нет. Не припоминаю. А что там у вас, на льду?

— И не услышишь, о нас тут не говорят. — Он сел напротив и придвинул мне кружку, которую не заказывал ни я, ни он. — Слушай, а ты вот знаешь, чем хорошее пиво отличается от знаменитого? Ну вот честно, по-дворфски, между нами. Ничем. Знаменитое стоит в тёплом доме с трубой, а хорошее... хорошее стоит в палатке на озере. Вот и вся разница, и она, в общем, не в пиве.

— Звучит обидно. И, судя по вам, обидно уже давно.

— Звучит правдиво, а это, брат, гораздо хуже. — Он подождал, пока я отопью. — У них в подвале семь бочек к ярмарке. Подменить одну на нашу и никому не говорить. Через неделю пол-Караноса будет божиться, что Громошары в этом году превзошли сами себя.

Я поставил кружку.

— А вторая половина? Думаешь, они не заметят?

— А вторая половина скажет, что одна бочка вышла... ну, странная. — Он развёл руками, и по лицу было видно, что этот довод он обкатывал не первый раз. — Да тебе-то что! Ты жрец. Тебя в подвал пустят без единого вопроса. Тебя вообще всюду пускают без вопросов, пока ты сам не начал спрашивать.

За стойкой Белм перевернул тряпку чистой стороной и взялся за то же место.

Я допил чужое пиво, натянул мокрый сапог и пошёл выяснять, где тут ночуют такие, как я. У двери обернулся. Марлет смотрел не на меня. Он смотрел на пустую кружку, и смотрел так, что стало ясно: свою он тоже не заказывал.

Крышку почтового ящика я на выходе поднял ещё раз. Просто так, по дороге.

Выяснение заняло у меня остаток дня и вышло поучительным.

Городок к вечеру только загустел: кто-то тащил через улицу связку жердей, у гномьей мастерской шипело и ухало так, будто там воспитывали котёл, а от кузни несло тем самым запахом горячего железа и палёного копыта, по которому дом узнаёшь с закрытыми глазами. Обошёл я всё это дважды. Комнату наверху у Белма дают за деньги, и это, между прочим, правильно, а денег у меня не было ни в каком виде: у нас в долине их толком и нет, у нас меняют.

— Ты не первый и не последний, — сказал Белм, не переставая тереть. — Иди в кузню и спроси, нужен ли им сегодня ночью кто-нибудь к горну. Обычно нужен.

В кузне мне обрадовались примерно как лишней головной боли, но не выгнали, а объяснили условие, и условие оказалось честным до неприличия.

Горн у них не гасят. Гасить его нельзя не потому, что традиция и деда, а потому, что растопить с холодного стоит полдня и уголь на эти полдня надо откуда-то взять. Значит, кто-

то должен ночью подойти к нему четыре или пять раз и подкинуть. Хозяин за день намахался, подмастерье мальчишка, а всякий такой, как я, всё равно ищет, где лечь. Вот его и кладут у горна. Не из доброты. Из арифметики.

Хозяина звали Тогнус.

Я, дурак, переспросил дважды. У нас в Наковальне кузнец тоже Тогнус, и у него тоже кузня, и он тоже не гасит горн, и я, честное слово, минуту стоял и думал, что мир устроен подозрительно тесно. Потом сообразил, что Тогнусов на свете, надо полагать, столько же, сколько Дурганов и Хродли, и что удивляться тут не на что.

А потом сообразил и вторую вещь, и вот она мне уже не понравилась.

Про здешнего Тогнуса написано, где он и до каких пор. А про нашего не написано нигде. Кузня та же, горн тот же, придавить может одинаково.

Ночь у горна тянется медленно, и это, надо сказать, лучшее, что можно про неё сообщить.

Спишь урывками, вполглаза, потому что помнишь, что через сколько-то надо встать. Первый раз я подошёл к нему раньше, чем следовало, из усердия. Второй раз тоже раньше. К третьему разу я приноровился и уже понимал по звуку: пока внутри шуршит и оседает, ещё рано, а когда стало тихо, пора. Уголь брали из ларя у стены, совком, и совок этот был стёрт с одного бока, потому что все, кто им черпал за последние лет двадцать, были правши.

Огарок я так и не зажёл. У горна светло и без огарка, если сесть с той стороны, где отблеск падает на пол.

Полоску кожи я достал часа в два.

Достал и долго вертел, потому что чистого места на ней было полно, а свободного в голове не было совсем. И вот сижу я, сорока трёх лет от роду, у чужого горна, в чужом городе, где меня никто не ждал и никто не записал, и царапаю гвоздём на обороте:

«Тогнус, кузня, от рассвета до темна».

Не наш Тогнус. Здешний. Я его в тот день даже толком не разглядел, а строку его запомнил дословно, с одного раза, как стих.

Потом ниже прибавил Максана Анвола, «Громоварка», стол у окна. Потом того пехотинца с холма и его сменщика, который опаздывает на четверть часа, потому что живёт дальше всех. Потом остановился и посидел просто так.

Список у меня получался хороший. Список у меня всегда получался хороший.

В нём не было только одного имени, и место под него, между прочим, было. Места там было сколько угодно.

Утром я проснулся оттого, что кто-то ударил по железу, и понял, что горн я всё же не упустил, а сам чуть не сгорел со стыда, потому что последний раз подкинул неизвестно когда.

Тогнус посмотрел в горн, хмыкнул и сказал, что ничего, бывало хуже, а тряпку на ногу пусть мне даст кто-нибудь другой, потому что ему до обеда подковать шесть штук. Я поблагодарил и пошёл через весь городок обратно, мимо гномьей мастерской, где уже опять шипело, и мимо почтового ящика, к которому я на этот раз не подошёл вовсе.

Максан сидел за тем же столом и над той же книгой. Судя по всему, он с неё вообще не вставал, и это было первое, что мне в нём понравилось по-настоящему.

— Четвёртый столбец, — сказал я вместо приветствия. — Три я вчера понял: кто, где и до каких пор. А четвёртый вы мне не показали, и я, если честно, полночи об него думал вместо того, чтобы спать.

Максан отложил карандаш и подержал на мне взгляд лишнюю секунду, и было в этом взгляде ровно столько удовольствия, сколько бывает у человека, которому с утра пораньше принесли работу.

— Садись. Четвёртый столбец это «кто вместо». Вот, гляди: если Тогнус со своей строки ушёл, тут написано, кто её держит вместо него, и написано заранее, а не в ту минуту, когда он ушёл.

— Заранее зачем? Он же может и не уйти.

— Он может и не уйти. — Максан щёлкнул карандашом по столбцу. — А может уйти, и как раз тогда, когда спрашивать некогда. Ты пойми, беда не приходит договариваться, она приходит и застаёт, кого застанет. Строка без четвёртого столбца это... ну, это пожелание. Хорошее, доброе пожелание, и толку с него столько же.

Тут я и полез со своим.

Я объяснил ему, что вести список умею, что вёл его три года, что могу переписать всю его книгу набело, и не просто переписать, а свести отдельно, у кого часы сходятся, а у кого расходятся, потому что у него, я вчера заметил, два человека на одни и те же часы, а вечер четверга не закрыт вообще ничем.

Максан слушал внимательно и без всякого удовольствия.

— Складно. И совершенно не то, о чём я тебя спрашивал.

— Вы меня ни о чём не спрашивали!

— Спрашивал, только ты не расслышал. Я тебя вчера спросил, умеешь ли ты стоять один. — Он закрыл книгу, придавил её ладонью и подвинул к краю стола. — А ты мне второй день отвечаешь, что умеешь красиво про это писать. Это, знаешь, разные занятия, хотя со стороны и похожи.

Я открыл рот и закрыл обратно, потому что возразить было решительно нечем.

— Южнее городка, вдоль дороги, стоит горный пехотинец Дольф. Стоять он сейчас не может, сидит. Ему разорвало бок, повязку ему наложили, и наложили криво, потому что накладывал он сам себе левой рукой. Пойдёшь, найдёшь и закроешь рану. Потом положишь на него слово, которое держит, и подождёшь, пока подействует, и не уйдёшь раньше.

— А если он меня не подпустит? Он же солдат, он меня старше всего лет на... не знаю на сколько, и служба у него, и ружьё, а я послушник с мокрой ногой.

— Подпустит. Он до тебя двадцать лет всех подпускал. — Максан открыл книгу снова и послунывил карандаш. — И вот ещё что. Он тебе будет говорить, что уже почти зажило и чтобы ты шёл своей дорогой. Это он не тебе говорит, это он себе говорит. Ты слушай и делай.

Я спросил, что мне за это будет, и спросил зря, потому что прозвучало жадно, а я имел в виду совсем другое. Максан, впрочем, понял правильно и ответил, что вернусь, тогда и поговорим, и что послушнику полагается кое-что, чего у меня пока нет, и что вещь эта по делу.

Потом он подтянул книгу к себе и стал писать.

Писал он долго, строки на три, и я стоял над ним, как дурак, и всё это время пытался разглядеть вверх ногами, что там появляется. Разглядел «Гизум». Разглядел «южн.». Дальше не смог, потому что почерк у него ровный, а буквы мелкие.

— Что вы пишете?

— Пишу, куда ты пошёл и когда. — Максан не поднял головы. — Строкой это не станет, ты не обольщайся, и в столбцы я тебя не ставлю. Но если ты к темноте не вернёшься, я хотя бы буду знать, в какую сторону идти и кого будить.

Глава 4. Пехотинец Дольф

Тряпку на ногу мне дал подмастерье, и дал он её так, будто отрывал от сердца.

Тряпка была толстая и с одного края палёная. Мальчишка объяснил, что палёная она потому, что ею брали горячее, и что брать ею горячее теперь не будут, раз она пошла на ногу приезжему. Я сказал спасибо. Он подумал и добавил, что вообще-то тряпку неплохо бы вернуть.

Вот за это я дворфов и люблю. Никакого тебе «да берите, что вы».

Из городка на юг ведёт одна дорога, и заблудиться на ней нельзя при всём желании: слева склон, справа склон, посередине то, что от снега расчистили. За первые полчаса я успел передумать примерно всё, что можно передумать по дороге на работу, которую ты никогда в жизни не делал.

А умел я на тот день ровно три вещи.

Закрывать кровь. Снять первую боль. И слово, которое держит, слову меня Максан выучил накануне, у стойки, между двумя страницами своей книги, и потратил на это времени меньше, чем на объяснение, где у них тут сортир. Показал трижды, велел повторить, поправил один раз и вернулся к книге. Я стоял и ждал, что будет дальше, потому что мне казалось, что после такого обязано быть хоть что-нибудь.

И вот с этим приданным я и шёл лечить солдата.

Слово я, кстати, пробовал. На себе, ночью у горна, дважды. На себе оно не показывает ничего: стоишь дурак дураком, ждёшь, а внутри ровно то же, что было. Оттого я всю дорогу и репетировал, как подойду, и с каждым разом выходило складнее, а это, я вам скажу, первый признак того, что дело кончится плохо.

Дольфа я увидел раньше, чем сообразил, что это он.

Просто сидел человек на камне у обочины, боком к дороге, и на камне рядом с ним лежало ружьё. Оно не было прислонено. Оно лежало поперёк, под правую руку, и кто хоть раз видел, как кладут ружьё те, кто с ним живёт, тот разницу поймёт с двадцати шагов.

Борода у него была короткая и рыжая с седым, а куртка на плече лоснилась там, где её двадцать лет тёрло ремнём. Сидел он не как отдыхают. Сидел он как сидят, когда встать можно, но не хочется проверять.

— Мне вас Максан Анвол прислал. — Голос у меня с ходьбы сел, и вышло тише, чем хотелось. — Из Караноса. Я, в общем... я жрец. Ну то есть послушник, но по этому делу как раз жрец, если вы понимаете, о чём я.

Ничего складного и с достоинством, разумеется, не вышло.

Дольф посмотрел на меня снизу вверх, спокойно и без всякого удивления, будто к нему на обочину каждый день выходят из снега и объясняются.

— Дольф. Горный пехотинец. Иди своей дорогой, парень, у меня тут уже почти зажило. Вот тут у меня в голове и щёлкнуло.

Максан сказал мне про эту фразу накануне, и сказал слово в слово, и я, дурак, решил тогда, что он просто хорошо знает человека. А знал он место, должность и порядок вещей. Человек в них был почти ни при чём.

— Уже почти зажило, — повторил я. — Хорошо. А как давно почти?

— Третьи сутки. — Он поморщился и переложил ружьё чуть выше по камню. — Слушай, не трать ты на меня время. Меня драло и хуже, я и то доходил до кузни своими ногами, а тут, честное слово, ерунда, к утру подсохнет и...

Он не договорил. Не потому, что задохнулся или там побледнел, ничего такого красивого. Просто человеку надоело слушать себя самого, и он замолчал.

Повязка у него уходила под куртку слева. Куртку он не запахивал, потому что запахнуть её значило прижать, и вот по одному этому уже было всё видно. А ещё было видно бурое пятно на снегу под камнем, старое, схваченное коркой, и второе рядом, поновее.

Я сел на корточки шагах в трёх и снял варежки. С этого места мне уже было хорошо слышно, как он дышит: коротко, верхом, не забирая полной грудью.

— Я не буду вас уговаривать. — Ладони я на всякий случай сунул под мышки, чтобы согрелись. — Я вам сначала боль сниму, это дёшево и это ничего не решает. А потом мы с вами спокойно поговорим, и если вы после этого скажете «иди», я пойду.

— А если не снимешь? Такое, я так понимаю, тоже бывает.

— Тогда вы будете сидеть на камне и рассказывать мне, что к утру подсохнет.

Он смотрел на меня секунды три. Потом хмыкнул и подставил руку.

Первую боль снимать умеет всякий, кто хоть чему-то учился. Снимается она с человека, а раны не касается вовсе: кладёшь ладонь и держишь, и то, что дёргалось, отступает на шаг, будто кто-то сделал тише. Рана при этом остаётся ровно там, где была, и портится ровно с той же скоростью. Штука эта опасная именно тем, что после неё все говорят «ну вот, а ты боялся».

Дольф ничего такого не сказал. Он сделал два глубоких вдоха, подряд, и я по этим двум вдохам понял, сколько суток он их не делал.

— Ловко. — Он повёл плечом, осторожно, проверяя. — Значит, слушай сюда, парень, и не обижайся, я объясню один раз. Я отсюда не уйду. Упрямство тут вообще ни при чём, ты меня неправильно понял. Вот от того поворота и вон до той седловины смотрю я. Один. Смена придёт, когда стемнеет, и придёт она по своему часу, и выручать меня в её обязанности не входит.

— Так я вас никуда и не зову. Я вас на месте.

— На месте. — Дольф наклонил голову набок. — А теперь скажи мне, умник, что я делаю, пока ты меня на месте лечишь? Лежу с задранной рубахой и гляжу в небо?

И вот тут я, честно скажу, сообразил не сразу, а сообразив, чуть не сел в снег.

Я всю ночь до этого думал про четвёртый столбец. Про то, что в книге у Максана заранее вписан тот, кто держит строку, если первый с неё ушёл. Я это устройство разобрал по косточкам, оно мне понравилось, я им восхищался.

А у солдата на дороге четвёртого столбца нет.

У него есть приказ, участок и время смены, и это очень хороший порядок, он проще и жёстче нашего. Только в нём нет графы «кто вместо». И значит, сказать вслух «я не могу стоять» для Дольфа означало не признаться в слабости. Это означало оставить кусок дороги пустым до темноты, потому что поставить туда некого, и это он знал лучше меня, и потому третьи сутки объяснял всем встречным, что почти зажило.

Брал он всё это время наряду. А наряду соврать нельзя, наряд врать не умеет, он просто пустеет.

— Дольф. А посмотреть можно чужими глазами?

— Это как это чужими? Ты давай объясняй словами, я тебе не Максан.

— Ружьё у вас. Руки у вас. Приказ у вас, и я к нему близко не подойду. А глаза могу быть мои. Вы мне покажете, куда глядеть и что считается, я сяду вон туда, где повыше, и буду глядеть. Увижу что не то, скажу вам, а дальше уже ваше дело. Вы с места не сходите, участок не пустеет, и всё, что меняется, это что вы полчаса сидите с задранной рубахой и глядите в небо, а гляжу за вас я.

Дольф молчал долго. Потом положил ладонь на ружьё, но не взял.

— Ты жрец или ты, это самое... стряпчий?

— Я послушник с мокрой ногой, вы совершенно правы. Просто я тут третий день живу среди людей, которые всё записывают, и, видимо, заразился.

Он засмеялся и сразу перестал, потому что смеяться ему было нельзя.

— Ладно. Вон тот распадок между двумя горбами видишь? Оттуда лезут. Не каждый день и не толпой, но лезут. Если пойдёт один и пойдёт не таясь, это кобольд, и это не беда, это досада. Если ты увидишь двоих и они встанут и будут стоять, вот тогда толкай меня, хоть кулаком, хоть чем.

— А если их будет трое? Тоже толкать?

— Если трое, парень, ты бежишь в городок и на меня не оглядываешься. Понял? Не оглядываешься!

Я сказал, что понял. Я не понял, конечно, но это выяснилось позже.

Повязку он размотал сам, потому что не дал мне. Так и сидел, отворачивая куртку левой рукой, а правой распуская узел, и узел был завязан плохо, и я смотрел на этот узел и учился больше, чем за весь предыдущий год.

Человек, который перевязывает себя сам, делает две вещи. Он затягивает ту же, чем надо, потому что ему страшно, что потечёт. И затягивает он там, где у него дотягивается рука, а рука дотягивается далеко не всюду.

Под повязкой был бок. Слева, от ребра вниз, длиной в ладонь, рваный.

— Кабан. — Он опередил мой вопрос ровно на полвздоха. — Здоровый и старый. Я его, понимаешь, срезал накоротке, а он меня клыком, и вышло у нас с ним, прямо скажем, не в мою пользу. Ты, если будешь рассказывать, говори лучше, что трогг.

— А почему обязательно трогг? Вам-то какая теперь разница.

— Потому что трогг это служба, а кабан это анекдот. Ну сам подумай: двадцать лет на дороге, и на тебе, свинья.

Я не засмеялся. Вежливость тут была совершенно ни при чём, мне просто стало не до того: я наконец разглядел, что там у него внутри.

Рана была грязная.

Клык не режет, клык рвёт и заносит с собой всё, что было на нём и вокруг него. Края уже подсохли и начали сходиться, и вот это и было самое скверное, потому что сходились они поверх.

Тут я обязан объяснить одну вещь про наше ремесло, потому что до того дня я её не знал и, по совести, знать был обязан.

Свет закрывает то, что под ним. Всё, что под ним. Он не разбирает, где ткань, где кровь, а где комок земли с чужого клыка, он просто сводит края и делает так, чтобы держалось. Положи я руки прямо сейчас, у Дольфа бы через минуту всё закрылось, он бы встал, поблагодарил и дошёл до смены на своих ногах.

А через два дня у него внутри завёлся бы такой ад, что никакой Свет уже не помог бы, и никто, между прочим, не связал бы одно с другим. Все бы решили, что не повезло.

Значит, надо было раскрывать.

Я сказал ему это как есть. Он выслушал и спросил только одно: сколько времени.

— Не знаю. Я такое первый раз делаю.

— Хороший ответ. Уважаю. Давай.

Талой воды у меня было полфляги, а нужно оказалось втрое больше, и остаток я топил в этой же фляге за пазухой, сидя рядом с ним и чувствуя себя полным идиотом. Снегом нельзя, снег грязный и снег холодный, а холод там ни к чему. Чистую тряпку я взял ту самую, палёную, с которой начался этот день, и вот тут мне стало смешно первый раз за сутки: мальчишка велел вернуть.

Дальше было просто и мерзко. Я разводил края пальцами, лил и выбирал.

Он держался за камень левой рукой и молчал.

— Ты давай, не жалея! Не барышня.

Это было единственное, что он произнёс за всё время. Я не жалел. К середине у меня начали дрожать руки, и дрожали они совсем по другому поводу, чем вы, наверное, подумали.

Я боялся упустить какой-нибудь кусок и потом всю жизнь думать, что человек умер от моей аккуратности.

Когда я решил, что чисто, я вымыл руки остатком воды и положил их на него.

Про то, как это делается, нового я вам не скажу. Ты кладёшь ладони и просишь. И оно идёт.

Скажу другое, потому что этого мне заранее никто не сообщил.

Оно идёт через тебя.

Не из тебя, у меня ничего своего нет и не было. Через. И вот это «через» имеет вес, и вес немаленький, примерно как если бы кто-то поставил тебе на плечи чужой мешок и попросил поддержать, пока он сходит. Первые несколько ударов сердца держать легко. Потом становится не то чтобы тяжело, а как-то очень уж долго.

Бок у Дольфа стягивало на моих глазах. Не как в сказках, без сияния и пения, и вообще, если честно, зрелище было довольно тошнотворное: мясо шевелилось. Сначала сошлось грубое, потом верхнее, и на месте всего этого осталась красная полоса, свежая, злая, но целая.

Я убрал руки и сел на снег, потому что ноги мои по этому поводу имели отдельное мнение.

— Ну вот. — Дольф говорил куда-то в небо. — А ты боялся.

— Я и сейчас боюсь. Не шевелитесь пока, я не закончил!

Слово, которое держит, кладётся не на рану. Оно кладётся на человека целиком, и человек после него не выздоравливает ни на волос. Он просто некоторое время может больше, чем может. Ему прибавляется запаса: дыхания, крови, упрямства, я не знаю, как это назвать правильно, и, по-моему, никто не знает.

Час, три, к вечеру сойдёт. Стоит это того ровно в одном случае: когда человеку надо додержаться до какого-то часа.

Дольфу надо было додержаться до темноты.

Я положил слово и стал ждать, как велено, и ждать оказалось самой длинной частью работы. Сидел на своём пригорке, глядел в распадок между двумя горбами и считал, что там шевелится. Один раз показалось. Оказалось, снег сошёл с камня.

— Ты чего там подскочил? — крикнул Дольф снизу.

— Ничего. Померещилось.

— Это хорошо, что подскочил. Плохо, когда не подскакивают.

Он оделся, посидел ещё и встал.

Встал он сам, и это я до сих пор помню лучше, чем всё остальное в тот день: человек берёт ружьё, ставит ногу, поднимается и не хватается за камень. Двадцать лет службы, борода с сединой, а поднялся, потому что я ему разрешил.

Дальше он проверился. Наклонился, повернулся в обе стороны, подышал полной грудью и один раз подпрыгнул, коротко, на месте. Я стоял и смотрел на эту проверку, как смотрят на чужую работу, которую понимаешь: он не хвастался, он принимал у меня сделанное.

— Держит. — Он повёл плечами ещё раз, уже без опаски. — Слушай, а до утра оно?

— Нет. К темноте сойдёт то, что я вам прибавил. Рана останется закрытой, она теперь ваша, а вот запаса не будет. Так что вы, пожалуйста, до смены и в городок. И три дня ничего тяжелее ружья.

— Три дня. — Дольф покивал. — Три дня, значит. А кто, интересно, ел бы за меня эти три дня?

— Вы и будете. Есть вам можно, есть вам даже нужно. Нельзя колоть, таскать и лазать по склонам, а ложку никто не отнимал.

Он посмотрел на меня и заржал в голос, и на этот раз ему было можно.

Потом он спросил, как меня зовут, и я сказал. Он повторил вслух, один раз, неправильно, поправился и повторил ещё раз правильно.

— Ладно. Наши вечером будут спрашивать, чего это я вдруг ожил. Скажу, что был жрец из Караноса. Ты не думай, у нас это надолго ложится: у нас если кого один раз назвали, того потом двадцать лет спрашивают.

Я сказал что-то вроде «да не за что» и пошёл к дороге.

Кожаную полоску я достал уже за поворотом, на ходу, и вписал его туда, где было место: имя, участок, часы смены. Гвоздём по мёрзлому неудобно, буквы вышли кривые. Мне было всё равно.

Обратно до городка я шёл вдвое быстрее, чем оттуда, хотя дорога та же и нога та же, и уклон, между прочим, был теперь против меня. Солнце к тому времени легло на хребет, снег на склонах пошёл синим, и от каждого куста потянулись тени в мою сторону, длинные и очень деловитые. Максан сказал: если к темноте не вернёшься. Я вернулся сильно раньше темноты и, каюсь, нарочно прошёл мимо почтового ящика медленно, чтобы отдышаться и войти в таверну человеком.

Максан сидел за тем же столом. Книга была закрыта.

— Ну?

— Кабан. Не трогг. Рваная, третьи сутки, грязная, он её сам себе затянул поверх. Я раскрывал и промывал, потом закрыл. Потом положил слово и дождался. Он встал сам и проверился сам. К темноте у него сойдёт запас, я ему сказал.

Максан слушал, глядя в стол. Потом поднял на меня глаза.

— Промывал, значит.

— Промывал. А что, не надо было?

— Надо. — Он помолчал. — Я тебя об этом не предупредил нарочно, парень. Про грязь тебе никто не обязан рассказывать, про грязь ты обязан догадаться сам! Потому что тот, кто не догадался, узнаёт про неё через два дня, и рассказывает ему это уже вдова. Вот теперь ты знаешь.

Я стоял и не знал, что мне с этим делать. Похвалили меня или выпороли, я так и не разобрал ни тогда, ни потом.

— Смена придёт вечером. — Максан подтянул книгу к себе. — Смена ко мне заходит. Так что если ты мне тут наврал, я об этом узнаю часа через три. Это, между прочим, тоже часть порядка, и очень существенная.

Потом он полез под лавку и вытащил свёрток.

Ряса была серая, некрашенная, из плотного и очень скучного полотна и явно не новая: на левом локте стояла заплата, положенная так ровно, что её хотелось потрогать. Плечи двойные. Два кармана, оба глубокие, оба с изнанки. Пояс отдельно, простая тесьма. Никакого шитья, ничего такого, из-за чего у меня в детстве дёргалось внутри, когда через долину проходили чужие.

— Это, стало быть, и есть вещь по делу?

— Это она. — Максан развернул рясу и встряхнул. — Плечи двойные, потому что ты будешь таскать мешок. Карманы с изнанки, потому что снаружи режут. Заплату поставил один парень, который у меня был до тебя, он теперь в Стальгорне и ему она мала.

— А зачем она вообще? Я, вы поймите правильно, не отказываюсь. Я спрашиваю, что она делает.

Максан посмотрел на меня с тем самым удовольствием человека, которому принесли работу.

— Она делает так, что тебя не спрашивают. Ты войдёшь в чужой дом, где помирает чужой человек, и у тебя будет ровно столько времени, сколько нужно, чтобы дойти до кровати. Объяснять, кто ты такой, ты будешь потом и уже над телом. А в этой тряпке тебя видно от порога, и тебе освободят дорогу и подвинут стол. Вот и всё, что она делает. Больше ничего.

Я надел её прямо там, поверх всего. И всё-таки я, взрослый мужик сорока трёх лет, минуты две стоял и разглаживал ладонями полы, будто от этого что-то зависело.

Рукава, между прочим, оказались мне ровно впору. Я проверил дважды, потому что не поверил с первого раза.

На улицу я вышел уже в сумерках, потому что в таверне стало тесно: народ сходиллся с работы, и Белм наконец начал делать что-то, кроме вытирания стойки. Из кузни перестало бить. Городок в этот час меняет звук целиком: стук уходит, на его место садится гул от «Громоварки», и по гулу так же точно слышно, который час. Я постоял, подышал и пошёл обходить городок ещё раз, теперь уже как человек, у которого есть своя одежда.

За таверной, у поленницы, стояла волокуша.

На волокуше под рогожей лежала бочка. Рядом с бочкой сидел на корточках Марлет Барливар и с полным равнодушием ковырял снег носком сапога.

— Ты чего это в новом? — Здороваться он не стал вовсе.

— Сдал экзамен. А вы, простите, тут давно сидите?

— Второй день. — Марлет встал и отряхнул колени. — Ты, брат, не подумай, я не караулю. Просто мне её обратно на озеро тащить в горку, а сюда она ехала под уклон, и я, если начистоту, всё жду, что ты передумаешь.

Я стоял и молчал, и молчал я, надо признать, недолго.

Дальше всё пойдёт по порядку, потому что порядок тут и есть самое интересное.

Сначала я спустился в подвал один и без бочки. Просто посмотреть.

В подвал у них ход с торца, снаружи, дверь двустворчатая, покатая, и по бокам жёлоб под колесо: бочку не носят, бочку катят. Внутри низко, пахнет мокрым деревом и кислым, и стоит вдоль стены ряд. Семь штук, к ярмарке.

Я насчитал их, потом сел на корточки и стал смотреть на днища. Потому что мне было надо знать одну-единственную вещь: как они отличают своё от своего.

Клейма не было.

Ни на одной. Ни выжженного, ни выбитого, ничего. А мелом на каждом днище стояло число, и все семь чисел были разные, и, если поглядеть подряд, шли они через неделю с небольшим.

Я сидел там, наверное, минуты три и веселился, как ребёнок.

Понимаете, в чём соль? Клеймо ставят, чтобы отличать своё от чужого. А в подвале Громоваров чужого не бывает по определению: там всё своё. Писать на собственной бочке в собственном подвале «Громовар» это примерно как подписывать свои штаны в собственном доме. А что действительно надо знать, так это когда какую закладывали, потому что от этого зависит, какую вскрывать первой. Вот они и пишут то, что им надо. Что показалось бы важным человеку со стороны, их не касается.

Механизм честный. Механизм умный. Механизм защищает ровно от той беды, которая у них случается, то есть от путаницы. И совершенно не защищает от беды, которой у них не случается никогда.

Я поднялся наверх и сказал Марлету одно слово: мел.

Мел у него был. Он его, по-моему, два дня в рукавице грел.

Число мы выбрали срединное: пусть бочка попадёт куда-нибудь в середину ярмарки, когда все уже сговорятся между собой, что нынче хорошо. Марлет написал сам, и писал он его дольше, чем следовало. Чужую руку он не подделывал, ему надо было всего-навсего, чтобы вышло криво и по-хозяйски.

А потом мы стали её катить.

И вот тут я и понял, что затея наша сорвётся на самом глупом месте. Бочка к ярмарке это не бочонок. Это дура в мой рост, если её поставить, и вдвоём по разъезженному снегу мы

докатали её до угла и там встали: у поворота снег был сбит в наледь, а на наледи она пошла куда хотела.

Мы её удерживали, я снизу, Марлет сбоку, и оба уже понимали, что сейчас она либо нас положит, либо уедет сама.

— Держи, держи, я сейчас... — Марлет упёрся и не договорил, потому что говорить ему было нечем.

И тут её взяли с третьей стороны.

Мужик из пивоварни, здоровый, в кожаном переднике, без шапки, шёл мимо по своим делам, увидел, что двое возятся, и молча зашёл с той стороны, где наледь. Взял. Развернул. Повёл.

Он сделал это, даже не сбившись с шага. Он не спросил, чья бочка. Он не спросил, кто мы такие. Он вообще ничего не спросил, потому что перед ним у пивоварни стояла бочка, а бочка у пивоварни может ехать только в одно место, и потому что рядом с ней стоял человек в серой рясе с двойным плечом.

Втроём мы её докатали до жёлоба и спустили вниз, придерживая. Она стала восьмой в ряду, и мужик сам подвинул её к стенке, чтобы стояла ровно.

Я стоял в этом подвале, отдувался и не мог поверить, что всё преступление целиком только что сделал за меня посторонний человек, а мне досталось поддерживать.

— Спасибо. — Отдышался я только тут, у стенки. — Мы бы с ней до ночи провозились.

— Да не за что. — Он вытер ладони о передник и оглядел ряд. — Восемь! Хорошо идёт нынче, в прошлом году к этому дню шесть было. Ты, отец, погоди уходить, я тебе покажу, а то будешь потом бродить по чужому подвалу и трогать что попало.

И он мне показал.

Показал он мне всё. Что читать надо мел на днище: на боку тоже пишут, но пишут мокрым, а мокрое к весне слезает. Что первая слева самая старая и её трогают первой, а последняя справа стоит до самой ярмарки. Что если число затёрлось, спрашивать надо Рагнара, потому что Рагнар помнит все восемь наизусть и ещё те, которых давно нет.

Я слушал и кивал. Я кивал очень старательно.

— А если кто чужую подсунет? — Голос у меня при этом, честное слово, был совершенно ровный.

Мужик остановился и посмотрел на меня. Он не рассердился и не насторожился. Он просто не понял вопроса, и не понял его целиком, до самого дна.

— Кто?

— Ну мало ли. Кто-нибудь.

— Да у нас все свои. — И он пошёл наверх, потому что его ждали.

Наверху хлопнула створка, и в подвале сразу стало очень тихо. Восемь бочек стояли у стены ровным рядом, и с того места, где я сидел на корточках, они были неотличимы одна от другой, как им и полагалось.

Смеяться там я не стал. Я поднялся, вышел, дошёл до угла и свернул за поленницу, где меня уже не было видно от двери, и вот там меня и разобрало.

Я стоял, держась рукой за стену чужой пивоварни, в новой рясе, полученной три часа назад за то, что я честно и не жалея вычистил человеку бок, и ржал в снег, пока не заболели рёбра. Марлет стоял рядом и смотрел на меня с некоторым беспокойством.

И тут я обязан сказать одну вещь, потому что иначе выйдет некрасиво. Мужик был совершенно прав. Система у них была совершенно правильная, и Рагнар действительно помнит все свои бочки наизусть, и ни одной глупости в этом подвале за сегодня никто не сделал.

Смешно мне стало от другого. Дверь в подвал они, оказывается, заперли изнутри лет двадцать назад, заперли на очень хороший замок, и замок этот называется «у нас все свои». Я сквозь него только что прошёл, даже не заметив, где он стоял.

А ещё, конечно, от того, что открыли мне его хозяева. Своими руками, с той стороны, где наледь.

— Ты чего это? Тебе плохо, что ли? — Марлет тронул меня за плечо.

— Ничего. Восьмая! Ты слышал? Восемь, говорит, хорошо идёт нынче, в прошлом году шесть было.

Марлет подумал секунду и сел в снег рядом со мной, потому что до него дошло.

Свою мы забрали через полчаса, и забрали тем же порядком, то есть никак. Я спустился, сказал, что эту надо наверх, и мне её выкатили, и её выкатили бы кому угодно, кто спустился бы и сказал, что эту надо наверх. Из подвала возят так же часто, как в подвал. Марлет увёз её в темноту на своей волокуше, под уклон, и я слышал, как она у него подпрыгивает на наледи.

Этот час я просидел в тепле и, каюсь, просидел его с удовольствием.

В «Громоварке» к вечеру набилось народу, я взял место с краю, у стены, и грел ноги. Максан сидел за своим столом у окна, писал и на меня не смотрел вовсе, и я был этому рад: мне и без него было о чём подумать. Белм тёр стойку. За окном стемнело окончательно, и от почтового ящика у входа осталось одно тёмное пятно.

Марлет вошёл без волокуши, отряхнул шапку о колено и добрался до меня не сразу.

— Ну. — Он придвинул табурет. — Теперь имей в виду. Если тебя когда-нибудь спросят, ты меня не знаешь, я тебя не видел, и вообще я эти два дня был на озере и колол лунку.

— А если не спросят?

— А если не спросят, — Марлет пожал плечами, — то к середине ярмарки вот в этом самом зале будут стоять и рассуждать, что Громовары нынче сами себя перешибли. И я буду стоять рядом и слушать. За тем и живу, брат.

Потом он встал, дошёл до стойки и выложил на неё деньги. Посмотрел на них, подумал и выложил ещё.

— Белм. Две. Громоваровского.

Белм снял с полки две кружки и повернулся к бочке.

Глава 5. Серая берлога

Сенир Белобород сидел на ящике у стены своего дома и точил карандаш ножом. Делал он это так, будто карандаш перед ним в чём-то крепко провинился.

Я узнал его раньше, чем он открыл рот. Та же борода, что у Грелина, тот же нос, та же посадка головы. Только Грелин, когда к нему подходят, откладывает дело и начинает радоваться, а этот даже стружку с колена не смахнул.

— Ну.

— Я от Максана Анвола. Он говорит, у вас есть, куда меня деть на сегодня.

— Есть куда. — Сенир поднял карандаш к глазу и посмотрел вдоль него, как вдоль ствола. — Значит, слушай и не переспрашивай, я это второй раз не рассказываю. Ты сегодня идёшь на восток, потом обратно и на юго-запад, и к темноте возвращаешься сюда. Всё понял?

— Ничего не понял, если честно. Я тут третий день и знаю ровно две дороги: одну, по которой пришёл, и одну, по которой ходил лечить пехотинца.

Он сплюнул стружку и всё-таки поднялся.

География зоны у него получилась примерно такая. От Караноса дорога на восток идёт мимо карьера, а за карьером, если взять к северу, начинается ферма Янтарленов, и это последнее приличное место перед тем, как дорога уйдёт в Лок Модан. Дорога на запад идёт вдоль замёрзшей реки к озеру. Барливары сидят на западном берегу озера, в палатках, и Сенир об этом сообщил таким тоном, каким сообщают о плохой погоде. А от озера к юго-западу поднимается гребень, и вот там, за гребнем, стоит Форт Мерзлогринов.

— Сколько там огней, я не знаю. Сенату надо число: столько-то дымов, столько-то террас занято. «Много» я и сам умею, я тебя за этим посылать не буду. Дойдёшь до гребня, ляжешь и посчитаешь. К самому Форту не суйся ни на шаг.

— А если посчитаю неправильно?

— Тогда напишешь то, что посчитал, и рядом напишешь, что не уверен. Число с пометкой стоит дороже уверенного вранья. — Он сунул мне в руки сложенный вчетверо лист. — Это Верону Янтарлену, по дороге. И принеси от него счёт баранам, который он мне обещал в прошлый вторник, а до сих пор, стало быть, не собрался.

Бумагу он отдал мне, не спросив ни имени, ни у кого я живу, ни есть ли у меня хоть какое доказательство, что меня действительно послал Максан. Второй раз за три дня мне вот так вот отдавали чужое, поглядев на меня и больше ничего не сделав. В первый раз, между прочим, зря.

— Ещё одно. — Сенир взялся за дверь и остановился. — Под гребнем, с этой стороны, есть пещера. Большая, входов у неё несколько, называется Серая берлога. Внутри вендиги. Ты в неё не лезешь, понял? Обходишь по верху и теряешь лишний час.

— А почему бы мне туда не заглянуть? Я, вообще-то, за день и так намотаю столько, что лишний час...

— Потому что я туда сам не полез, — сказал Сенир.

И вот тут, надо признать, я на секунду завис. Мужик с таким лицом и таким голосом не признаётся в подобных вещах, а если признаётся, то не с первого раза и не чужому послушнику на пороге.

— Не полез, — повторил он спокойнее. — Один. Три года назад. Дошёл до устья, постоял, посмотрел, как оттуда тянет, и пошёл обратно, и по дороге придумал себе четыре причины, зачем мне обратно. Все четыре, между прочим, были хорошие.

Он открыл дверь и напоследок посмотрел на меня без всякого выражения.

— Тебе я причины придумывать не дам. Обходишь по верху. Иди.

Внутри у него на столе лежала раскрытая книга, и, пока он не закрыл дверь, я успел увидеть, как он чиркнул в ней одну строчку. Три слова, число, косая. Прочитать отсюда получилось одно: «послан».

Дорога на восток идёт под уклон, поэтому первый час я шёл быстро и всё думал про то, что нести чужой счёт баранам это, конечно, вершина жреческого призвания. Стук из кузни отстал от меня примерно на середине подъёма, и как только он отстал, стало слышно, до чего же тут тихо. Вешки вдоль обочины стояли редко и косо, но стояли, и я на них поглядывал, как учили.

Ферму я почувал раньше, чем увидел. Пахло навозом, мокрой шерстью и сеном, и после трёх дней снега, камня и угля этот запах показался мне почти неприличным по части уюта.

Верон Янтарлен принял бумагу, прочитал её всю, включая то, что было написано на обороте, и только потом сказал «угу». Мужик он был широкий, в тулупе без рукавов, и руки у него были такие, что я невольно прикинул, сколько у него на них шрамов и сколько я бы возился с каждым.

— Счёт я тебе дам. Счёт у меня готов со вторника, просто ходить с ним в Каранос я не нанимался. — Он оглянулся на загоны. — Барана берёшь?

— Не беру. У меня и на сапоги-то не своё.

— Ну и правильно. Барана надо брать, когда есть куда его ставить и чем кормить, а не потому что красиво. — Он назвал мне цену, и я честно не понял, много это или мало, потому что сравнивать было не с чем. — Два в год у меня уходят вон туда, и они в этой цене сидят.

Он мотнул подбородком на запад. Там, за фермой, поднимался утёс, и с утёса на округу смотрела здоровенная сутулая тварь. Отсюда она была с ноготь величиной и всё равно читалась целиком: шерсть, плечи, длинные руки, посадка.

— Вендиго?

— Вендиго. Сидит там шестой год. Зовут Вагаш, только имя ему дал не я, имя ему дали на дороге, а я его повторяю. — Верон произносил это ровно, как про снег. — Двух баранов в год он у меня берёт, и я на него не в обиде. Обижаться на него всё равно что обижаться на обрыв.

Я посмотрел на утёс ещё раз и открыл было рот, но тут по выгону мимо нас пробежала девица.

Бежала она странно: не быстро, широкой дугой, забирая всё время влево, и на бегу орала.

— Ну же, Пушистик! Я просто хочу тебя помыть!

Впереди неё, шагах в двадцати, по снегу катился кролик. Белый, грязный до серости, и катился он тоже дугой, только своей.

— Дочь, — пояснил Верон. — Второй час.

— Второй час она за ним бегаёт?

— Она за ним не бегаёт. Она его заводит. — Он подобрал с земли обломок жерди и воткнул его обратно в дыру в изгороди, придавив ногой. — Бегущего кролика заворачивают. Ловить его без толку, он тебя быстрее в четыре раза. Он от неё и не убегает никуда, он круг наматывает, и круг у него всегда один и тот же: от сарая вдоль загона, за поленницу, обратно. Ей надо каждый раз чуть подрезать, чтобы круг делался меньше. Часа за два круг садится до загона, и он туда сам заходит.

И я забыл, что тороплюсь. Со мной это делается быстро, стоит только показать мне, что у чего внутри крутится.

— То есть она не гоняется. Она его сгущает.

— Можно и так. — Верон посмотрел на меня чуть внимательнее. — Долго, скучно и работает. Она с восьми лет так делает.

— А зачем? Он же кролик. Их вон в холмах...

— Их в холмах полно, да. И под сараем у меня их полно, и кормовое они мне жрут, и подрывают всё, что можно подрывать. Я их стреляю. — Он произнёс это спокойно и без всякого

нажима. — Только этого не стреляю, потому что он названный. Названного у нас не режут, не продают и не стреляют. Никогда.

— А кто это придумал?

— Никто не придумывал. Ты попробуй зарезать зверя, которого в доме зовут по имени, и посмотри, как у тебя в доме потом неделю живётся. — Он повёл плечом. — Поэтому имя у нас вещь дорогая. Имя это не слово, парень. Имя это корм до самой его смерти и место в тепле, и всё за мой счёт.

И дальше он мне выложил всё, и это была самая красивая штука, какую я видел за неделю.

На ферме Янтарленов имён ровно три. Число посчитанное, как считают дрова на зиму: столько ферма может тащить даром, не залезая в то, с чего живёт. Первое имя висит двадцать два года на старом баране Кузнеце, который слеп на один глаз, ничего уже не даёт и жрёт как молодой. Верон назвал его сам, в свои двадцать, и вслух с тех пор ни разу не пожалел, но три вместо четырёх стоит именно с того года. Второе имя носит овца Хромуша, которая не ягнилась четыре зимы. Третье, стало быть, кролик.

Всё остальное на ферме зовётся описанием: тот, что с надломленным рогом; молодой от прошлогодней бурой; крайний в третьем загоне. Так их и продают, так и считают, и путаницы, к моему изумлению, не бывает никакой.

— А если четвёртого захочется?

— Захочется, — согласился Верон. — Ей вон уже два года хочется. Ходит вокруг ягнёнка, который у неё с осени, и разговаривает с ним «эй ты». Специально. Потому что если один раз при мне назовёшь, обратно не отзовёшь: у нас в семье назад не переигрывают. Так что стоит она в очереди и ждёт, пока Кузнец помрёт. И, между прочим, не хочет, чтобы он помирал. Вот и живут они оба.

Очередь на имя. Я стоял на чужом выгоне, в чужом навозе, с чужим счётом баранов за пазухой, и мне было хорошо, как не было, пожалуй, с той минуты, когда мне первый раз развернули книгу дежурств.

Тут дуга в очередной раз вынесла девицу к нам, и она затормозила, разглядев рясу.

— Ой. Здрасьте. — Она отдышалась, отбросила косу за спину и сразу забыла, что поздоровалась. — Слушайте, вы же не торопитесь? Встаньте вон там, у поленницы, и просто стойте. Просто стойте, ничего не делайте!

— Могу и посерьёзнее что-нибудь. Я, если надо, могу...

— Не надо посерьёзнее! — Она уже разворачивалась. — И к поленнице идите по дуге, слышите? По дуге, вдоль изгороди! Не прямо!

Дальше я сделал то, что сделал бы на моём месте любой сорокатрёхлетний послушник, которому сегодня ещё считать огни за гребнем. Я посмотрел на поленницу. Она была шагов за семьдесят, наискось через выгон. По дуге вдоль изгороди выходило втрое.

И я пошёл прямо.

Про баранов я знал ровно то, что их едят и на них ездят. Никто мне не рассказывал, что баран всю жизнь смотрит, не идёт ли кто-нибудь куда-нибудь уверенно. По дуге ходит хозяйка, по дуге ходит собака, по дуге ходит всё, что его пасёт. А кто идёт через выгон ровно и не сворачивая, тот идёт к делу, и дело у человека с баранами бывает одно.

Первым тронулся крайний в третьем загоне. За ним, ещё до того как я успел понять, тронулось всё остальное.

Их было десятка четыре. Шли они деловито, очень плотно, ровным клином, обошли меня с двух сторон, и я оказался внутри. Снег под ними хрустел сплошным низким звуком, без отдельных шагов, и звук этот меня, честно говоря, догнал раньше, чем я догадался остановиться.

Я остановился. Они остановились тоже и стали ждать.

Пушистик, которому до загона оставалось, судя по всему, не так уж много, вышел из своей дуги, взял по прямой и ушёл под кормовой сарай.

Ярлин Янтарлен стояла шагах в десяти от меня, посреди своего разрушенного часа, и держала руки на поясе. За два часа она ни разу не повысила голос ни на кролика, ни на баранов, ни на отца.

— Морковка каждый день целый год, если перестанешь! — заорала она в сторону сарая.

Из-под сарая никто, разумеется, не ответил.

— Не заставляй меня звать папашу! Он любит ловить кроликов из ружья!

Верон, не глядя, воткнул в изгородь вторую жердь.

Счёт баранам я получил на крыльце, вместе с куском хлеба и советом впредь ходить по дуге. К дороге я выбирался вдоль изгороди, старательно и с изгибом, и сорок баранов провожали меня взглядом с полным пониманием того, что этот больше ничего интересного не сделает.

Полдень я прошёл на обратной дороге, и к тому часу, когда солнце легло на хребет слева от меня, я уже миновал Каранос, не заходя, и повернул к юго-западу. Стук из кузни в этот раз догнал меня на подъёме и отстал только за поворотом. Ноги гудели. За пазухой у меня лежали чужой счёт баранам и полоска кожи, и на полоске прибавилось две строки, писанные на ходу, гвоздём, коряво.

Дорога под утёсом Вагаша идёт узко, и по ней ходят каждый день. Вот это поразило меня сильнее самого вендиги. Она короче верхней на добрых полчаса, и внизу под утёсом снег утоптан до наста десятками ног. Люди идут по двое и по трое, идут быстро, не разговаривая, и никто не задирает голову. Мне навстречу попались двое с волокушей, и один из них, поравнявшись, сказал мне, не сбавляя шага:

— Не стой. Идёшь и идёшь.

Я шёл и шёл. Тварь на утёсе меня видела. Я это чувствовал спиной, шеей и, кажется, даже сапогами. Она не двинулась ни разу.

И всю дорогу под утёсом меня грызло одно: почему никто ничего не сделает. Вот зверь, вот два барана в год у одного только Верона, вот дорога, по которой ходит полсотни человек в день и все они боятся поднять глаза. Ну соберитесь вы уже.

Потом я прикинул, что значит «соберитесь». Снять с работы столько людей, чтобы хватило прижать зверя, который сидит выше тебя, видит дальше тебя и уходит по камню туда, куда ты за ним не полезешь. Кормить их, пока они этим заняты. И кто-то из них не вернётся, и наряд его останется пустым, и дом его останется без него, ради двух баранов в год, которые давно посчитаны и лежат в цене.

С обрывом не воюют. С обрывом живут и ходят по нему аккуратно, и Верону хватило на это одной фразы, а мне понадобилось две мили.

На гребень я вылез, когда солнце уже наполовину село за дальний хребет, и лёг, как было велено.

Форт Мерзлогривов лежал внизу, и он был не лагерь.

Не знаю, чего я ждал. Наверное, чего-то вроде того, что мы называли троллиной дырой у себя в долине: щель в скале, вытоптаный снег, две-три шкуры на кольях. Внизу подо мной стоял город. Террасы, вырубленные одна над другой, ходы между ними, длинные крыши из шкур на каменных подпорках, дым, идущий ровно, как идёт дым там, где очаги топят каждый день много лет подряд. Тролли были обыкновенные: длиннорукие, клыкастые, в мехах, и снизу их доносило голосами.

Я насчитал девятнадцать дымов и восемь занятых террас, потом пересчитал и получил двадцать один и восемь.

А пока считал, разглядел на нижней террасе троих мелких, которые возились с чем-то у самой стены и один раз чуть не свалились вниз, и на них немедленно наорала здоровенная тролльская тётка, и они разошлись.

Утром, объясняя мне дорогу, Сенир произнёс про Форт слово «зачистить». Произнёс между делом, как говорят про снег с крыши. А лёжа на гребне, я думал про то, что слово это в Караносе говорят люди, которые сверху сюда не смотрели ни разу. Им и незачем. Сюда сверху смотрят только те, кому велено считать дымы для Сената.

Записал оба числа, приписал сбоку, что не уверен, и сполз с гребня задом.

Солнце к тому времени село совсем, и на первом же спуске я сел на камень и поехал. Обход по верху стоил ровно час, а часа у меня не было: были сумерки, чужой счёт баранам за пазухой и то соображение, что ходить в темноте по верхам умеет не всякий, а я в этих горах третий день.

Внизу, у самого устья Серой берлоги, горел костёр.

Их было трое, и по всему выходило, что они тут с утра. Костёр прогорел до угольной ямы, снег вокруг был вытоптан широко и обжит: чурбаки, притащенные откуда-то, котелок на камне, три мешка, сложенные вместе, и на мешках доска.

Первым меня заметил здоровый дворф с киркой поперёк колен.

— О. — Он привстал. — Ты один?

— Один. Я через верх собирался, да не успеваю. Я не сильно вам помешаю, если посижу у огня четверть часа?

— Сиди хоть до утра. — Он подвинулся. — Данк Дризлкат, горное дело, Гол'Болар. Это напарник мой, а это Вимбли.

Напарник, парень помоложе, кивнул мне и ничего не сказал. А третьим у костра сидел гном.

Гном был мелкий даже по гномьим меркам, в куртке с чужого плеча, подпоясанной верёвкой, и в шапке, которая ему явно доставалась вместе с курткой. Он держал на коленях ту самую доску и водил по ней углём. Судя по всему, водил давно.

— Вимбли Искропряд. — Он не поднял головы. — Ты видишь этот снег у левой стороны входа? Вот тут, где чёрное. Он стоял. А справа наста нанесло на две ладони. Ты скажи мне, почему.

— Понятия не имею.

— Потому что оттуда дует наружу, а сюда задувает внутрь! — Он всё-таки поднял голову, и по лицу было видно, что ответ ему без надобности: ему нужно было право говорить дальше. — Тепло идёт оттуда, тает, намечает справа. Значит, воздух в этой дыре ходит. А если он ходит, то он куда-то выходит, потому что в мешок воздух не ходит, в мешке он стоит. Значит, устье не одно. Я тут сижу с рассвета и считаю тягу, и по тяге у меня выходит два, вот это и вот это, и второе где-то там, за горой, и его не видно отсюда, потому что оно за гребнем, а гребень...

— Вимбли, — сказал Данк.

— А, ну да. В общем, два устья.

Я взял доску. Там был план, начерченный углём: два овала, между ними линии, у линий цифры шагов, стрелки тяги, и всё это вычислено из снега и воздуха человеком, который внутрь не заходил.

— И зачем тебе это, если ты туда всё равно не полез?

— Затем, что день! — Вимбли отобрал у меня доску и подул на неё. — Мы тут стоим с рассвета. День всё равно пропал, а если он пропал, то пусть хоть что-нибудь останется, кроме того, что мы его просидели. Ты понимаешь эту мысль или тебе объяснить?

— Понимаю прекрасно. А почему день пропал?

Тут они переглянулись, и Данк ответил за всех.

— Потому что нас трое.

И он мне объяснил, спокойно и по пунктам, сидя на корточках у прогоревшего костра.

В такую дыру ходят вчетвером, и четыре тут число посчитанное, как три у Верона на ферме. Работ там ровно четыре. Первый идёт впереди и смотрит вперёд. Второй идёт последним и смотрит назад, и это, как выяснилось, главная работа, потому что вендигу в берлоге не бросается с рёва, он обходит. Третий держит свет, и держит его в одном положении, и больше не делает ничего вообще, потому что если свет пляшет, то не видит никто. Четвёртый бьёт породу и выносит.

Трое закрывают три работы. Четвёртую поделить нельзя никак: у того, кто бьёт, глаза в камне, и больше он ничем в этой пещере не располагает.

— Мы с утра сидим и ждём четвёртого. — Данк поворошил угли. — До полудня ждали всерьёз. Потом уже, знаешь, просто так сидели.

— И часто вы так сидите?

— Каждый второй раз. — Он поглядел на меня снизу. — Ты в рясе.

Я ждал вопроса и не дождался. Вопросы не было вообще, а было вот это «ты в рясе», сказанное тем же тоном, каким говорят «у тебя лопата». Молодой напарник при этом на меня даже смотреть перестал, будто дело решилось.

— Медь на четверых, — сказал Данк. — Поровну, и сундук, если попадётся, тоже поровну. За рясу отдельно не платим, ты не думай. Доля у всех одна, хоть ты кирка, хоть ты свет.

— Так и надо. Мне бы ещё до темна на ту сторону гребня, если у вас второе устье и правда там, где Вимбли начертил.

— Оно там, — сказал Вимбли. — Слушай, а сам-то ты откуда?

— Из Холодной долины. Наковальня.

— Ага. — Он подкинул уголёк на ладони и поймал. — А я из...

И звук у него выключился.

Выключился не как у человека, которому стало грустно. Просто был голос, быстрый и с перескоками, и голоса не стало, а лицо осталось прежним, деловым, и уголёк он всё так же перекатывал на ладони.

Данк неторопливо поднялся и стал развязывать мешок. Напарник взял котелок и пошёл набивать его снегом.

— ...а гребень там низкий, — сказал Вимбли ровно с того слова, на котором остановился. — Поэтому и тянет. Пошли уже, а то темнеет.

Никто ничего не переспросил. Я тоже не стал.

Пошли мы через четверть часа, когда Данк залил костёр и запалил лампу. Порядок он назвал один раз, коротко и не оборачиваясь: сам первый, я второй, Вимбли со светом третий, напарник замыкает. Небо к тому времени сделалось того цвета, при котором ещё видно дорогу и уже не видно, что на ней лежит. Устье потянуло нам в лицо тёплым, и я пошёл в него, честно говоря, легче, чем шёл утром по чужому выгону.

Внутри было теплее, чем снаружи, и это оказалось самое неприятное.

Мороз у входа держал запах, а в трёх десятках шагов от устья запах отпустило, и он пошёл: мокрая шерсть, старая подстилка и что-то ещё, сладковатое, из глубины. Вимбли шёл третьим со светом, держал его ровно, как обещал, и всю дорогу молчал. Данк впереди. Напарник сзади. Я посередине, и всю первую четверть часа мне было стыдно, потому что я в четырёх работах не занимал ни одной.

Медь пошла шагов через двести. Данк ткнул в стену пальцем, потом ещё раз, потом взялся за кирку, и стало шумно. Порода отходила тяжело.

Первого вендигу мы услышали, когда Данк отбил уже прилично. Он шёл справа и сверху, с той стороны, откуда, по доске Вимбли, ничего идти не могло, и напарник крикнул раньше, чем я вообще понял, что мы не одни.

Дальше я, честно говоря, помню кусками.

Помню, что свет не сдвинулся ни на палец, и умнее этого в той пещере не было ничего. Помню Данка, который развернулся с киркой на полшага и не отступил ни разу. Помню, что от вендиго пахнет как от подстилки, только гуще, и что руки у него длиннее, чем кажется, и он этим пользуется.

И помню, что я стоял и ничего не делал, потому что делать мне было нечего до тех пор, пока кого-нибудь не достанут.

Достали напарника. Достали хорошо, наотмашь, по левому плечу и вниз, и он сел.

Дальше было то, чему меня учили, и рассказывать тут особо нечего. Скажу одно: пока я работал, я не видел ничего, кроме чужого плеча. Ни пещеры, ни света, ни того, что делается в четырёх шагах. Слышать я тоже, считай, перестал. И новичок тут ни при чём: работа берёт целиком, потому что она так устроена.

И вот тут я и понял то, до чего за сорок три года как-то не додумался.

Всё, что я умею, делается только тогда, когда кто-то стоит надо мной. Про «вдвоём-то оно сподручнее» тут речи вообще нет. Один я могу ровно две вещи: не лечить и смотреть по сторонам либо лечить и не смотреть вообще. Ножницами о двух кольцах и одном лезвии не режут. Их и ножницами-то никто не зовёт.

Данк стоял. Я не видел, я слышал: кирка, шаг, кирка, и его дыхание, тяжёлое и злое. Вимбли держал свет и не пошевелил рукой.

Когда я отнял ладони от плеча, всё уже кончилось. Напарник был белый и мокрый, но сидел сам, и рука у него шевелилась, и в глазах было то тупое удивление, которое я до этого видел один раз, у пехотинца на дороге.

— Ну? — Данк наклонился ко мне, и на меня пахнуло его дыханием. — Долго ещё?

— Ещё немного. Дай мне сколько дашь, я не могу быстрее.

И они дали.

Вот это оказалось самое странное за весь день, страннее очереди на имя и страннее сорока баранов. Трое взрослых мужиков в пещере, где только что было то, что было, стояли и ждали, пока я закончу. Не торопили, не спрашивали, сколько можно. Данк развернулся ко мне спиной и смотрел в темноту. Вимбли сел на корточки рядом и держал свет так, чтобы мне падало на руки.

Меня ждали.

Я закончил, вытер ладони о рясу, и напарник впервые за день заговорил, и сказал он что-то насчёт того, что кирку он не бросил, вот кирка, а мешок бросил, и мешок теперь надо забирать.

За мешком пошли все вместе. Вимбли по дороге начал рассказывать, что медь тут идёт гнездом, а не жилой, и что если Данк отобьёт вон там, то через полтора шага будет второе гнездо, и что вообще эта пещера ему не нравится, потому что по тяге у него всё сходилось на два устья, а вот тот, который пришёл справа сверху, пришёл не из второго.

— Он пришёл откуда-то ещё, — сказал Вимбли, и голос у него в первый раз за вечер пошёл медленно. — Погодите-ка. Дайте свет сюда, к стене. Ниже давайте, к самому полу, я хочу посмотреть, куда оно...

Данк опустил лампу к полу.

Тяга развернулась и пошла нам в лицо. Пламя легло набок и держалось так, не выпрямляясь, и по стене поехали тени, которых до этого не было ни одной.

Я поднялся с колен и взял напарника под здоровую руку. Он был тяжелее, чем я рассчитывал, и встал только со второго раза.

— Назад, — сказал Данк.

Назад мы не пошли, потому что назад теперь было оттуда же. Мы стояли, светили в пол и слушали, как оно идёт по верхнему ходу, и я, дурак, по привычке начал считать.

Глава 6. Два с половиной дня

Досчитал я до трёх и сбился.

Считать я начал по глупости, оттого что руки были заняты, а голова нет. Два шага сверху шли ровно и в лад, будто их делал один тяжёлый зверь на четырёх ногах, а третий тащился следом и задевал стену плечом. Большой он был или старый, я не знаю, и легче мне от этого знания не сделалось ни на волос.

— Их трое, — сказал я в темноту. — И один хромает, слышите? Данк, третий идёт не так, как первые два.

— Слышу. Свет мне на пол, не в потолок. Вот сюда, под ноги.

Лампу он мне сунул, не оборачиваясь, и я взял её левой рукой, потому что правой держал напарника под здоровую подмышку. Напарник стоял, но стоял он тем способом, каким стоит человек, которому только что закрыли плечо: сам по себе стоит, а качается по чужому расписанию.

Назад мы не пошли. Назад теперь было оттуда же.

— Вимбли. Тяга.

— В лицо! Тяга в лицо, я же вам полдня говорил, что воздух в этой дыре ходит, а вы мне что? А вы мне «Вимбли»! — Гном сидел на корточках и водил ладонью в двух пальцах над полом, как водят над углями. — Раз в лицо, значит спереди дыра. Не устье, дыра, там может быть в ладонь щель, но она наружу, потому что мороз, вы чувствуете, какой оттуда мороз? Идём вперёд и вверх. Только не бегом, я вас умоляю, не бегом, я тогда тягу потеряю и всё, и стойте, если я скажу стоять.

Мы пошли вперёд и вверх, и шли медленно, потому что медленно шёл раненый, а впереди через каждые двадцать шагов останавливался гном и щупал воздух над полом. Данк шёл последним и ни разу Вимбли не поторопил. Я бы поторопил, и не один раз.

Хромой достал нас в узком месте.

Он вышел не сзади, а сбоку, из бокового лаза, до которого никому из нас не было дела, и вышел он на Данка. В узком месте зверь теряет главное своё преимущество: он там не может обойти. Он там может только переть. Он и попёр.

Дальше я стоял и светил.

Вот это я и делал всё то время, пока Данк упирался в него киркой, а Вимбли жёг, и в лицо мне било то жаром, то вонью мокрой шерсти. Лампу я держал не шевелясь, а под мышкой держал чужого мужика, который норовил осесть. Больше я не сделал ничего.

Хромого добили. Двое других за ним не пошли: они остались там, где было мясо, и мясо у них было своё.

Щель нашлась через полсотни шагов. Лезли мы через неё по одному, а раненого тянули за куртку вдвоём, и он один раз коротко и страшно взвыл, и после этого не издал ни звука до самого верха.

Наружу мы вылезли в снег, чистый и нетоптанный, под очень крупные и очень равнодушные звёзды. Гребень был у нас за спиной. То есть вылезли мы с обратной стороны горы, и до тропы, до костра и до мешков предстояло идти в обход, по темноте, вокруг всей этой проклятой шишки.

Вимбли сел прямо в снег и захохотал.

— Третье! Третье устье, вот оно, я же говорил, что доска врёт, я же сам себе говорил, что у меня по счёту два, а по холоду выходит больше! Данк, ты понимаешь, что мы сейчас прошли эту гору насквозь? Насквозь! Её никто насквозь...

— Встань, — сказал Данк. — Сядешь потом, дома. Пошли.

Каранос

Вокруг горы мы шли до середины ночи, и всю дорогу у меня в голове сидел несданный счёт.

Медь поделили у остывшего кострища, на четыре кучки, при свете той же лампы. Делил Данк, а я стоял рядом и давил в себе желание сказать, что мне не надо. Уговор был назван вслух до входа, и переигрывать его после того, как всё кончилось хорошо, есть свинство, а не благородство.

Напарника Данк повёл домой, в Гол'Болар. Рука у того на день-два была не работница, и Данк сказал об этом так, будто речь шла о сломанной лопате: неприятность, срок известен, разговор окончен.

В Каранос я пришёл под утро, когда стук из кузни ещё не начался, и это был единственный раз, когда я слышал городок молчащим. Не понравилось. Городок без стука похож на человека, который не дышит.

Сенир Белобород не спал.

Он сидел у себя за столом, при двух свечах, и по тому, как он на меня посмотрел, я понял, что ждали меня к темноте, а темнота прошла давно.

— Живой. Ну хоть так. Я тебе что говорил про берлогу? Я тебе говорил не лезть. Я тебе объяснил, почему не лезть, я тебе даже сказал, что сам туда не полез, а это, парень, я не всякому говорю!

— Так я и не лез один. Я туда пошёл четвёртым к трём, и это как раз то самое число, которое...

— Знаю я это число. — Он вытянул руку. — Давай счёт.

Я дал счёт.

Он читал его долго, шевеля губами, и на приписке остановился. Приписка была моя: девятнадцать дымов и восемь занятых террас в первый раз, двадцать один и восемь во второй, и внизу написано, что во второй раз я считал с гребня и не уверен.

— Хорошо, — сказал он наконец. — Не уверен, а написал. Теперь смотри сюда, потому что у меня для тебя три дела, и они идут по важности, а не по дороге.

И он их выложил передо мной, все три.

Первое: отчёт. Запечатанный, в кожаном чехле, и адрес у него был такой, что я его переспросил. Сенатор Барин Красный Камень, Высокий Трон, Стальгорн. Не улица, не дом, не таверна. Трон.

— Отдать в руки, не мочить, никому не показывать, дороги дальше ворот ни у кого не спрашивать, там тебе покажут. И не беги. Бегущего с бумагой останавливают.

Второе стояло у него под столом и было бочонком.

— Это ячменоварово. Рейджолд его сюда приволок сам, на себе, с озера, и стоял тут, и говорил, и говорил, и я согласился, лишь бы он ушёл. Бочонок идёт в Тельсамар, к Кадреллу. Отдашь обозу у Северных врат, обоз выходит послезавтра с утра. Не успеешь к обозу, понесёшь его в Лок Модан своими ногами, и это, я тебе обещаю, будет очень длинная неделя.

Бочонок был невелик, ведра в полтора. Я его поднял, поставил и посмотрел на Сенира.

— Погодите. Северные врата это на восток. А Стальгорн у нас, если мне не изменяет память и карта, строго в другую сторону.

— Изменяет тебе не карта, а порядок в голове. Обоз ждать не будет, а сенатор подождёт, он в Стальгорне сидит третий год и ещё посидит. Сперва восток, потом запад. И третье.

Третьего он даже не выложил. Он махнул рукой, будто отгонял муху.

— На Северных вратах пилот. Молотоног. Он второй раз спрашивает, не видал ли кто его напарницу, она у него куда-то делась. Скажешь, что не видал, и он успокоится. Всё, иди спать, тебе выходить в полдень.

Спал я до полудня, в углу за печкой, и снилась мне тяга.

Вимбли я нашёл у гномьей мастерской. Он сидел на корточках перед своей доской и перечерчивал её заново, целиком, а старый чертёж лежал рядом мятый.

— Я в Стальгорн. Через восток, но в Стальгорн. Ты вроде говорил, что тебе туда.

— Мне туда. Мне туда, но не сейчас, потому что у меня вот это. — Он ткнул углём в доску, и овалов на ней было уже три вместо двух. — Тяга на входе врёт, понимаешь? Врёт, если у горы есть верхняя дыра, потому что верхняя дыра тянет по-другому и в другое время суток! Мне надо посидеть у неё сутки. Может, двое.

— Двое суток на горе, из которой мы вчера еле выползли.

— Ну а что мне, забыть? — Он посмотрел на меня снизу вверх и вдруг стал очень серьёзным. — Я, знаешь, не люблю, когда у меня что-нибудь остаётся непонятым. Иди уже. В Стальгорне встретимся, там всё равно все рано или поздно встречаются.

Хельмово Ложе

Вышел я в полдень, как было велено, и первые часа два получил чистое удовольствие, потому что дорога на восток от Караноса идёт под уклон, снег на ней укатан, а бочонок за спиной ещё не начал разговаривать.

Разговаривать он начал к вечеру.

Про бочонок надо сказать отдельно. Рейджолд отдал его вместе с наставлением, и наставление Сенир передал мне слово в слово, с таким лицом, что я понял: он его репетировал. Стаут был мерцающий, а мерцающий стаут, если его заморозить, мерцать перестаёт, потому что в нём что-то выпадает на дно и обратно уже не поднимается. То есть я нёс полтора ведра пива, которому нельзя было замёрзнуть, по зоне, где замерзает всё, включая озёра, и на ночь его полагалось класть ближе к огню, чем себя самого.

Ну и вот я его нёс. Сорок три года, ряса Церкви Святого Света, отчёт для сенатора за пазухой и бочонок, которому холодно.

К Хельмову Ложу я вышел на закате.

Озеро это известно тем, что о нём никто ничего не говорит. Прорубь на нём держат открытой круглый год, потому что если её бросить, то новую придётся рубить в полтора локтя льда, а никому неохота. Она была обколота и ободрана, вокруг натоптано, и на льду стояли воткнутые вешки. Ни лагеря, ни костров, ни людей. Пустое место, через которое ходят.

Людей я увидел на южном берегу, и их было двое, и один из них лежал.

Лежал он на спине, на утоптанном снегу, в дворфийском доспехе, и доспех на груди был разорван, и разорван так, что смотреть на это мне не хотелось совершенно. Второй сидел рядом на корточках. Молодой парень, в латах не по себе, и в руках он держал вещь, которую я в жизни видел ровно один раз, на картинке, и то криво.

— Он жив, — сказал парень, не поздоровавшись. — Ты видишь? Он жив. Он вот сейчас дышит, смотри.

Тот, кто лежал, дышал.

Я подошёл, сел с другой стороны, взял его за руку под перчаткой и понял, что рука холодная. Мороз тут был ни при чём. Так холодеет человек, который остыл.

— Давно?

— Час. Может, полтора, я не считал, я тут... — Парень сглотнул. — Я его нашёл вот так. Он не дышал, у него было всё вот это, и он не дышал, понимаешь? Я его позвал. Я вообще не знал, выйдет или не выйдет, это же не про меня, это про Свет, я только держал и звал, и он взял и...

Он не договорил и показал мне то, что держал в руках. Символ Жизни. Обычная вещь, если её просто описывать: металл, шнур, потёртая от пальцев середина.

А тут лежал остывший дворф и дышал, и рядом сидел парень лет двадцати с небольшим, который не мог объяснить, как он это сделал, потому что и правда не знал.

Спросить я всё-таки спросил. Не удержался.

— А ты его как? Ты его словами звал или как-то ещё? Я про порядок спрашиваю. У всякого дела есть порядок, и я хочу знать, какой тут.

— Да не знаю я! Я держал, вот так держал, обеими, и говорил ему, чтобы он не смел, и всё! — Парень мотнул головой. — Ты жрец. Ты и должен знать, я думал, ты мне сейчас объяснишь.

Объяснить я ему ничего не мог.

Звали лежащего Нарм Фаульк, и это я узнал уже потом, когда он начал говорить. Говорил он обрывками, между забытьём, и половина была ни о чём, а вторая половина была про то, кто его так. Не тролли и не зверь. Дворфы. Бороды чёрные и морды чёрные, и пришли они из-за озера, с юга, и было их четверо, и одного он положил на тропе.

Парень уходил за подмогой к Северным вратам, часа на три в один конец, и оставить Нарма одного он не мог, а я мог остаться. Так и договорились. Он снял с себя мешок с едой, положил мне под руку и сказал, что это за час, и я не стал отказываться, потому что от еды в дороге не отказываются, а благородство, если его некому оценить, есть просто голодный живот.

Просидел я с Нармом почти три часа.

Ничего особенного я за эти три часа не делал. Держал его в тепле, подкладывал под голову, поил снеговой водой из фляги и следил, чтобы он не заснул слишком глубоко. И один раз, когда его начало трясти, я положил на него руки и подержал, сколько было чем держать. Оно ушло всё, до дна, и толку с этого было ровно на то, чтобы дрожь унялась.

Обоз выходил послезавтра с утра, и я про это помнил всё время.

Тропа

Ушёл я, когда со стороны Северных врат показались двое с волокушей, и они меня даже не спросили ни о чём, потому что видели ряску, а больше им ничего и не требовалось.

Тропа от южного берега идёт в гору и потом вдоль склона, и шёл я по ней час, и всё это время думал про четверых чёрных, которые пришли с юга. С юга там стоит бывшее владение Стерджи Сталекрута. Хозяин, если верить кузне, помер лет двадцать назад, а владение осталось: дом, ограда, склад, всё каменное, всё построено на совесть и всё пустое.

Дым из трубы я увидел с тропы.

Стоял я и смотрел на этот дым непозволительно долго. Дом, у которого хозяин умер двадцать лет назад, топился. Ровным белым столбом, как топится дом, в котором живут и в котором сейчас, вот прямо сейчас, кто-то подкидывает в очаг.

К дому я не пошёл. Я, конечно, дурак, но не до такой же степени.

А того, которого Нарм положил, я нашёл на самой тропе, шагах в двухстах, и не нашёл бы, если бы не нога, торчавшая из-под наметённого.

Он был дворф. Ниже меня на полголовы, борода чёрная и подстрижена коротко, чего у наших не носят, и лицо тоже тёмное, и грязь тут была ни при чём: в него будто въелась сажа и жила там третье поколение. Кожаный доспех, хорошая работа. Ножа при нём не было: нож, я так понимаю, остался в Нарме или рядом с ним.

Я стоял над ним, и мне было довольно противно, причём от себя самого, потому что я собирался залезть к мёртвому за пазуху и знал, что залезу.

Залез. Сумка была на ремне через плечо, плоская, и в ней лежала одна бумага.

Читать чужие бумаги нехорошо, а я прочёл, и в этой бумаге не было ничего, кроме счёта.

Северные врата: восемь, из них двое при машинах. Южные врата: одиннадцать, смена на рассвете. Дозор у озера снят с прошлой луны. Дорога на Каранос: патруль два раза в сутки, второй ленивый.

И так дальше, ещё десять строк.

Я перечитал это трижды, стоя на морозе над покойником, и вот что меня взяло. Счёт был хороший. Он был лучше моего. У меня стояло «двадцать один, не уверен», а тут не было

ни одной приписки, ни одного «около», ни одного «примерно», и человек, который это писал, ходил по нашим дорогам столько, сколько ему было нужно, и никто у него ничего не спросил.

Бумагу я взял. Сумку оставил. И постоял ещё немного, потому что нужно было что-то сделать с ним самим, а я не знал что.

Своих кладут в камень. Про чужих мне за все годы учения не сказали ни разу, и я стоял и ловил себя на очень простой мысли: я не знаю, что тут положено. У меня в ремесле дыра размером с человека.

Кончилось тем, что я закидал его снегом. Не по обряду и вообще никак, просто чтобы не лежал открытый.

Сторожка

Стемнело, пока я спускался, и ночевать мне было негде, потому что до Северных врат оставалось часа четыре, а идти четыре часа по темноте с бочонком и с бумагами я не собирался.

Огонь я увидел справа, ниже тропы, и сперва решил, что мне мерещится, потому что огней было много и стояли они ровным рядом.

Это был дом. Маленький каменный дом, вжатый в скалу, с замёрзшим прудом перед ним и заснеженными соснами над прудом, и на подоконнике у него горели свечи. Штук восемь или девять, в ряд, и они, конечно, ничего не освещали. Они были видны.

Дверь открыл человек. Человек, я имею в виду, из людей: высокий, немолодой, в тёплой рясе не нашего покроя, и на груди у него висело то же самое, что и у меня, только другое.

— Заходи. Не стой, я тепло выпускаю. Тут за дверью дров сколько-то, захвати охапку, раз уж всё равно с руками.

Звали его отец Гэвин, и жил он тут один.

Я полвечера пытался понять, что он тут делает, и спросил трижды разными словами, и трижды получил ответ, из которого следовало, что он сидит и смотрит. Застава. Один человек, свечи в ряд каждый вечер, потому что застава обязана быть видна с дороги, а если её не видно, то это просто дом в снегу.

Дрова я принёс, воду наносил из проруби и за это получил похлёбку и место у огня. Бочонок я поставил к очагу, и Гэвин посмотрел на бочонок, потом на меня, но ничего не сказал, за что я ему благодарен до сих пор.

— Отец Гэвин, а вот скажите. — Похлёбка была горячая, и я держал миску обеими руками. — Если человек мёртвый и он чужой. Совсем чужой, с той стороны. Что с ним положено делать? Меня этому не учили, а сегодня понадобилось.

Он ответил не сразу.

— Ничего с ним не положено делать, кроме одного. Убедиться, что он мёртвый. Ты убедился?

— Он под снегом лежал. Намётённый.

— Это не ответ, а погода. — Гэвин снял котелок с огня и поставил на камень. — Слушай, я тебе скажу вещь, простую до глупости, и ты её запомнишь, потому что она тебе пригодится чаще, чем хотелось бы. Живой человек на снегу протаивает под собой. Всегда. Он тёплый, снег под ним садится, и получается лунка, и по краю этой лунки видно, сколько он там лежит: у свежего край мокрый и рыхлый, у давнего оплывший и схваченный коркой. Мёртвый не протаивает. Под мёртвым снег такой же, как везде.

— То есть можно понять издали. Не подходя.

— Издали. Не подходя. — Он сел напротив и вытянул ноги к огню. — Только имей в виду, что понять издали это единственное, что ты с этого получишь. Ноги тебя всё равно понесут проверять, и правильно понесут. Просто ты пойдёшь, уже зная.

Сидели мы ещё, наверное, час. Он расспрашивал про Каранос, про Максана, про то, много ли у нас в горах зверья, и я отвечал, и никак не мог отделаться от ощущения, что человек этот слушает меня краем, а сам всё время слушает что-то другое.

Один раз я спросил прямо, чего он тут высматривает.

— Мёртвых, которые встают, — сказал он спокойно, будто я спросил про виды на урожай. — На севере, за морем, была большая беда, и после неё мёртвые перестали лежать смирно. У нас тут этого нет. Не было ни разу и, дай Свет, не будет. Но смотрят везде, потому что если смотреть только там, где уже началось, то смотреть, парень, поздновато.

Спал я на лавке у стены и спал хорошо.

Северные ворота

Вышел я затемно, по чужому следу, потому что своего с вечера намело, и часа два шёл в темноте наугад, пока тропа не легла на дорогу. К Северным воротам я вышел, когда обоз ещё стоял, и вот тут я успокоился окончательно: успел.

Северные ворота это самое северо-восточное, что у дворфов есть, и выглядят соответственно: частокол, два строения, ворота, из которых дорога уходит в Лок Модан, и всё это недоделано и недоукомплектовано ровно настолько, насколько бывает всё, что стоит на краю. Пехотинцы там при этом серьёзные: дорожный патруль в наших горах состоит из мужиков, у которых на счету больше троггов, чем у меня знакомых.

Бочонок я сдал возчику. Возчик потряс его у уха, спросил, не мёрз ли, я сказал, что не мёрз и что спал у огня лучше меня, возчик хмыкнул и сунул бочонок под рогожу, между мешками, в самую середину, где теплее. И расписался.

Обоз ушёл. Вот так это и кончилось: скрип, ругань, ворота, и полтора ведра мерцающего стаута поехали в Лок Модан.

Оставалось третье. Третье звучало как «скажешь, что не видал, и он успокоится».

Пилота Молотонога мне показали сразу, потому что он стоял у ворот и смотрел на восточные холмы, и, судя по лицам, стоял он там не первый день. Маленький, кривоногий, седой, в лётной куртке с меховым воротом, и куртка эта видала такое, чего не видали её хозяин и я вместе взятые.

— Из Караноса? — Он даже не дал мне договорить, кто я. — От Сенира? Ну?

— Он велел передать, что никто её не видел. — Я сказал это ровно так, как мне было велено, и оно у меня во рту рассыпалось на середине. — То есть в Караносе не видел никто, я спрашивал, и на дороге тоже, и я сам сюда шёл двое суток и никого...

— Четвёртые.

— Что четвёртые?

— Четвёртые сутки. Она ушла в дозор на восточные холмы и должна была вернуться к вечеру того же дня. Вечером её не было. Утром её не было. Я послал в Каранос, потому что здесь у меня людей девять и все девять при деле, а по ночам, парень, в этих холмах воет, и воет не волк.

Он говорил это спокойно, как человек, который за четверо суток проговорил всё столько раз, что слова у него стёрлись до гладкости.

— Так пойдём, — сказал я.

Пошли мы вчетвером: Молотоног, двое пехотинцев с ружьями и я.

Восточные холмы

Искали они цепью, разбившись на голос, и часа полтора мы ходили пусто. Холмы там пологие, лысые и все на одно лицо, и я до сих пор не понимаю, как в них вообще можно кого-то найти.

А потом левый крайний свистнул, и мы пошли на свист, и вот тут я увидел то, что искать было не надо, потому что оно лежало на открытом склоне и было видно шагов за триста.

Снег вокруг был перепаханный, широкой полосой, и полоса эта уходила вниз по склону и загибалась, и по всей длине её были следы. Медвежьи. Большие, растопыренные, с бороздами от когтей.

А ещё в снегу были другие следы, поменьше и с каблуком, и лежали они кусками: тут человек шёл, тут стоял, тут падал, тут снова шёл.

Я остановился шагов за пятьдесят и посмотрел на снег вокруг неё.

Он был ровный. Под ней не было лунки, и по краю не было ни мокрого, ни оплывшего, и снег под ней лежал точно такой же, как везде.

Оставшиеся пятьдесят шагов я всё равно прошёл, и правильно прошёл, и до сих пор считаю, что правильно. Просто я их прошёл, уже зная.

Мори Хильделв была маленькая, как все пилоты, и лежала она на боку, подтянув колени, в такой же лётной куртке, как у Молотонога, и одной рукой держалась за ремень сумки. Правой ноги ниже колена у неё, считайте, не было. Это случилось не сегодня. Это случилось довольно давно, и она с этим ещё ходила.

Пехотинцы встали и сняли шапки. Молотоног сел рядом с ней на корточки и не сделал больше ничего.

Я повернул её к себе, потому что положено смотреть, и посмотрел.

Постоял.

Потом я сделал то единственное, что тут можно было сделать руками: разогнул ей пальцы и снял с плеча ремень сумки, потому что сумку надо было отдать своим, а сама она её больше не отдаст.

В сумке лежала книжка.

Служебная, в кожаной обложке, разлинованная, с обмусоленным карандашом на шнурке. Я такие видел: в них пишут погоду. Ветер такой-то, видимость такая-то, сколько прошёл, что видел. Молотоног взял её у меня, полистал и вернул мне обратно, и руки у него при этом не дрожали, а вот перевернуть последний лист он не смог, и это сделал я.

Она вела её до конца.

Первый день: ветер северо-западный, ровный, видимость хорошая, зверь крупный, идёт следом, третий час. Второй день: почерк тот же, строки короче. Пишет, что сидела ночь на камне, что он не уходит, что нога плохо. Третий день там начат, но погоды в нём нет.

В последней строке погоды тоже не было.

Она была написана поперёк, крупно, наискось через всю страницу, и была она за всю книжку единственным предложением, которое человек написал про себя.

«Пусть кто-нибудь убьёт эту тварь.»

Мангеклешня, сказал один из пехотинцев. Так его тут зовут, белый, старый, и до этого он брал баранов, и его два раза стреляли и оба раза мазали.

Её мы несли на ружьях, продев их в рукава куртки, и несли долго, потому что склон, и потому что никто не хотел торопиться.

У ворот Молотоног забрал у меня всё, что было её, и всё, что было её, поместилось в один заплечный мешок. Кроме книжки. Книжку он попробовал сунуть туда же, потом вынул, потом подержал в руке.

— Её положено сдать. Дозорную книжку сдают в Стальгорн, в палату, там их подшивают и складывают, и лежат они там штабелями до второго пришествия. И вот скажи мне, парень, ты человек с бумагами, ты у Сената ходишь. Куда там подшивают вот такую строчку? В какую графу? Ты мне графу назови, и я сдам.

Я графу не назвал.

— Так я и думал. — Он вложил книжку мне в руки и придавил сверху ладонью. — Ты в Стальгорн идёшь? Иди. Отнеси кому знаешь. А если некому, то и не надо, только не выбрасывай.

Мне сказали, что за медведем пойдут сами, вчетвером, с двумя ружьями и собаками, и пойдут, как отпустит смену, потому что на воротах должно стоять восемь человек и на воротах будет стоять восемь человек. Меня не позвали. Мне сказали идти по своим бумагам.

На дорогу я вышел после полудня и пошёл на запад.

За воротами я остановился и переложил всё, что нёс, как следует. Отчёт в чехле лёг за пазуху, к телу, чтобы не мок. Чужая бумага со счётом легла туда же, но в другой карман, с изнанки. Полоска кожи с моим списком лежала там всегда, и я её сдвинул к самому шву.

Книжку в кожаной обложке я положил рядом с ней.

Глава 7. Ворота, которые видно из-за гор

Врата я увидел часа за три до того, как до них дошёл, и все эти три часа они не делались ближе.

Объясняю, в чём тут штука, потому что сам разобрался только к вечеру. Глаз меряет расстояние по вещам, размер которых знает заранее. Дом. Дерево. Мужик с тачкой. А если тебе показали вещь, про размер которой ты не знаешь ничего, глаз докладывает первое, что придёт ему в голову.

Мне глаз доложил, что до Врат полчаса ходу.

Через полчаса я стоял, по ощущениям, там же и злился на всю дорогу разом. Ещё через час дорога пошла ниже, Врата спрятались за плечо горы, и я успел решить, что зашёл не туда. Потом они вылезли снова, уже с другой стороны, и стало видно, что я к нимдвигаюсь: за это время сдвинулась гора.

Вот тогда я первый раз в жизни понял головой то, что все дворфы знают с рождения и никогда об этом не думают: наш город не построили. Наш город вынули.

Дорога была не такая, как под Караносом. Там за час мимо тебя пройдёт человек, и это будет событие, и вы поздороваешься. Тут за час прошло восемь повозок, и никто со мной не поздоровался ни разу. Сперва я оскорбился. Потом сообразил, что если здороваться со всеми, то к воротам приедешь без голоса, и оскорбляться перестал.

На одной телеге сидел возчик, которому, видимо, было скучно.

— На Врата не пялься, — окликнул он сверху, не поворачивая головы. — Пялиться на них с дороги это последнее дело. Смотри под ноги и считай шаги, а поднимешь глаза, когда шагов не останется. Иначе к вечеру будешь ругаться на камни, а камни не виноваты.

— Я, честно говоря, уже ругаюсь. Далеко ещё?

— Тебе далеко, мне близко. У тебя ноги, у меня, слава Свету, вол. — Он подумал и всё-таки повернул голову. — Часа полтора у тебя. Ты, парень, главное, не садись отдыхать вон там, где красиво. Все садятся вон там, где красиво, и потом идут в темноте.

Я не сел. Я, между прочим, дошёл засветло, и хвастаться тут особенно нечем, но я всё равно похвастаюсь: с рассвета на ногах и без единой остановки, кроме той, где патруль.

Патруль стоял на повороте, двое, и это были не те пехотинцы, которых ставят на дальних выселках, где раз в месяц забредёт кабан. Эти стояли так, будто им за это платят и будто им есть за что платить. Один посмотрел на мой мешок, второй на рясу, и оба потеряли ко мне интерес быстрее, чем я успел придумать, что им сказать.

Дорожную бумагу у меня никто не спросил.

Ладно, скажу честно: дорожной бумаги у меня никакой нет, а есть три чужие, и все три лежат врозь. Отчёт в чехле, за пазухой, к телу, потому что мокрая бумага это уже не бумага. Чужой счёт по нашим постам в кармане с изнанки. Там же, рядом с полоской кожи, книжка в кожаной обложке, про которую я всю дорогу помнил, что она у меня есть.

Я их щупал через каждый час. Все три разом, как проверяют, на месте ли зубы.

Последнюю версту дорога шла вверх, между двух отвалов старой породы, слежавшихся и заросших снегом до состояния холмов, и вот тут Врата наконец повели себя прилично: они начали расти. Быстро. Неприятно быстро, я бы сказал.

Я видел ворота. Ворота бывают в человеческий рост, бывают в полтора, бывают такие, чтобы въехала телега с сеном, и это уже ворота, про которые говорят: ух какие ворота. Эти были высотой с гору, потому что они гора и есть. В створ можно было завести дом, поставить на него второй, и сверху осталось бы места ещё на пол-Наковальни.

Человек, который шёл в них передо мной, был размером с гвоздь.

Я остановился, потому что у меня встали ноги. Постоял, посмотрел, сказал вслух короткое слово, которое послушнику говорить не полагается, и пошёл дальше.

Сбоку у створа стоял пост. Я к нему честно свернул, потому что человек с чужой бумагой к сенатору обязан, по-моему, о себе заявить, и всю последнюю версту я складывал, что скажу. Вышло у меня три версии. Короткая, средняя и хорошая.

Пост на меня не посмотрел.

Двое разбирались с повозкой, третий считал бочки, четвёртый стоял и глядел мимо всех, как глядят люди, которых поставили глядеть. Я потоптался. Я подошёл ближе. Я даже кашлянул, и это было, скажу я вам, унижительное занятие.

— Мне бы доложиться, — выговорил я в конце концов. — Я из Караноса, у меня бумага в Высокий Трон.

— Ну и неси свою бумагу, кто тебя держит.

— В смысле неси? Я говорю, она служебная, от Сената. Мне велено...

— Слышал я, что тебе велено. — Он всё так же смотрел мимо. — Мы тут телеги смотрим, а не рясы. Вон в ту сторону и вверх, там все идут, не заблудишься.

Тут я должен кое-что признать, и признавать это мне до сих пор смешно. Ряса работала везде, где я в ней ходил, и я к этому за месяц привык так, что перестал замечать.

За то время, что я топтался у поста, мимо прошло человек тридцать. Двое из них были в рясах.

Внутри створа воздух менялся так, что это чувствовалось шеей. С дороги в спину подавало морозом, а навстречу шло тёплое, и тёплое пахло железом, углём, жареным луком и пивом, всё сразу и в таком количестве, что я на секунду забыл, куда шёл.

Ни неба, ни щели, ни просвета. Над головой был камень. Я потом много раз слышал, как приезжие называют Стальгорн пещерой, и каждый раз хочу спросить: вы пещеру-то видели? В пещере пол мокрый и потолок капает. Тут и пол, и потолок были одинаково твёрдые, ровные, обработанные, и в них было врублено всё остальное.

А посреди этого всего стоял он.

Статую я увидел не сразу целиком, потому что целиком её из-под ног не видно. Сперва я увидел постамент, на котором сидело человек десять. Сидели они хорошо, обстоятельно: кто с мешком, кто с ребёнком, кто просто ждал, и один ел прямо там, разложив на коленях тряпицу. Низ постамента был вытерт задами до блеска.

Потом я отошёл, задрал голову и увидел сапог. Потом колено. Потом всё остальное, и на этом месте я перестал считать, во сколько моих ростов оно уложится, потому что счёт получался неприличным.

Верховный король стоял, опершись на молот, и смотрел не на входящих. Он смотрел поверх ворот, туда, откуда я пришёл, и лицо у него было такое, будто он там что-то забыл и никак не вспомнит что.

Модимус Наковальня.

Дом, в котором я вырос, зовут Наковальней. Так и говорят: «пойду в Наковальню», «а он из Наковальни». Одно строение, плоская крыша, кузня внутри, и в этом строении помещается вся моя деревня и вся моя прежняя жизнь. Я произносил это слово, наверное, тысяч десять раз. Я ни разу за сорок три года не подумал, что оно чьё-то имя.

Понимаете? Имя. Человек ходил, ел, злился, у него была борода и был вот этот самый молот, а потом он умер, и одну снежную дыру на краю мира назвали в его честь, и в этой дыре сорок три года прожил я.

Я стоял и смотрел на него снизу вверх, и меня разбирало от того, до чего ловко всё сошлось: я вышел из его имени и пришёл к его ногам, и никто этого нарочно не устраивал.

Потом я пошёл искать надпись.

Надписи не было. Я обошёл постамент справа, дошёл до угла, посмотрел на все три доступные мне стороны и не нашёл ни единой буквы. Гладкий камень, вытертый низ, наверху что-то вроде орнамента, и всё.

— Не там ишу, что ли? — окликнул я мужика, который сидел с краю и разматывал портянку.

— Смотря чего ты ищешь, парень. Тут вообще-то не ищут, тут сидят.

— Написано где. Кто это. Я вот с той стороны смотрел, тут смотрю...

— А чего писать-то? — Он даже разматывать перестал. — Ты сам-то не знаешь, что ли, кто это?

— Знаю, конечно. Модимус Наковальня.

— Ну вот.

И тут меня понесло толпой.

Мимо статуи шёл поток, поток шёл в одну сторону, и стоять в нём было примерно то же самое, что стоять в ручье: тебя не толкают, тебя обтекают, и через минуту выясняется, что ты уже не там, где стоял. Я хотел обойти постамент кругом и не обошёл. Меня внесло в зал.

Про Общий зал мне рассказывали, и рассказывали, как выяснилось, никак.

Это была улица шириной с озеро, врубленная в камень, и по ней двигалось столько народу, сколько я за всю жизнь суммарно не видел. Дворфы, гномы, люди, и все шли, и все несли, и все говорили одновременно. Под сводом висели знамёна, бледно-голубые, длинные, и висели они высоко, потому что низко их бы оборвали в первый же день.

Я двинулся поперёк и застрял.

— Посторонись! Посторонись, борода, кому говорю, посторонись! — Мимо, боком, лез гном с ящиком, и ящик был больше гнома. — Не стой на ходу, ну куда ты встал, я тебе третий раз кричу!

— Так я же...

— Он ещё разговаривает! Отойди к стене и разговаривай там сколько влезет!

Я отошёл к стене. У стены стоял дворф в фартуке и грыз что-то на палочке.

— Всегда у вас тут так, что не пройти?

— Это ещё пусто, — выдал он с полным ртом и без всякого выражения. — Ты, стало быть, впервые. Ты приходи к большим торгам, вот тогда посмотришь. Тогда тут стоят, как в бочке селёдка, и ругаются в четыре голоса на четырёх языках, и это, я тебе скажу, зрелище.

Пустой зал. Я запомнил это выражение и таскал его с собой потом ещё долго.

Дальше я двигался вдоль стены и глазел, и мне не стыдно: я приехал глазеть. Лавки были врублены прямо в камень, дверей у половины из них не было вовсе, был проём и прилавок в проёме. Огонь горел в открытых очагах через каждые двадцать шагов, и никто его не караулил, потому что гореть тут было нечему.

Потом я упёрся в торги и залип надолго.

Сперва я не понял, что происходит. Стоял длинный ряд, у ряда толклись, и на прилавке лежали вещи с привязанными бумажками. Клещи. Моток проволоки. Кираса, приличная. Мешочек с чем-то сыпучим. Никто товар не хвалил, никто его не совал в руки, и продавца при нём не было ни одного.

— А хозяин где? — поинтересовался я у распорядителя, который сидел за столом и что-то писал.

— Хозяин? — Он поднял на меня глаза с большим сожалением. — Хозяин, может, в Менетиле. Хозяин, может, у себя в Лок Модане. Может, он вообще спит, я почём знаю.

— Погодите. Как я тогда буду торговаться?

— А никак. Тут не торгуются.

У меня в голове это укладываться отказалось. Дома цена делается так: приходишь к человеку, человек говорит своё, ты говоришь своё, и вы часа полтора выясняете, кто из вас кого

больше уважает. Восемь кусков мяса за перчатки. Полтора часа удовольствия. Это и есть цена, и без этих полутора часов её вообще нет.

— То есть я прихожу, а цена уже назначена?

— Цена не назначена. Цену никто не назначает. — Он отложил перо, и по лицу его я понял, что объяснять это ему приходится по десять раз на дню и что где-то в глубине души ему это нравится. — Ты вешаешь свою бумажку, я записываю номер. Хочешь взять чужое, называешь мне сколько. Придёт другой, назовёт больше, твоё пропало. К вечеру вещь уходит тому, кто дал больше всех, и он про хозяина не знает ничего, и хозяин про него тоже.

— И оба довольны?

— И оба недовольны, — обрадовался распорядитель. — Один считает, что продешевил, другой считает, что переплатил. Вот когда оба ворчат, значит, цена настоящая. А когда один уходит счастливый, значит, второго обули, и я эту цену за настоящую не считаю.

Я стоял и разбирал эту штуку по косточкам: если хозяина нет, то его нельзя ни разжалобить, ни переспорить, ни взять измором. Люди уходят, остаются номера, и с номерами оно работает лучше, чем с людьми.

Постоял я там, надо думать, лишку. Ушёл, потому что вспомнил, зачем пришёл, и потому что рядом обнаружилось место, мимо которого пройти было ещё труднее.

Сокровищница стояла за низкой аркой, и очередь к ней шла на улицу. Двери у неё были железные, в два слоя, а перед дверями сидели двое и ничего не делали, кроме того, что смотрели на руки. Дворф передо мной сдал сундучок, сундучок унесли, дворфу дали жетон, дворф ушёл. Всё это заняло меньше, чем у нас занимает поздороваться.

— А спрашивать не будут, что там? — вырвалось у меня вслух.

— Не будут, — откликнулась женщина из очереди, не оборачиваясь. — Тебе оно зачем, если ты пустой?

— Да я просто смотрю. Первый день в городе.

— Все просто смотрят. — Она всё-таки обернулась. — Не спросят ни что там, ни откуда взял, ни зачем тебе. Спросят жетон. Нет жетона, нет разговора, и хоть ты плачь, хоть ты король.

— А если человек не вернётся?

Тут она посмотрела на меня уже по-другому.

— Лежит. — Женщина поправила платок. — Лежит и лежит. У нас там, за дверью, лежит такое, чего никто не забирал с Войны Трёх Молотов. И будет лежать, пока не придут. Это же не про доверие, парень. Это про железную дверь.

Класть мне туда было нечего, и переживал я по этому поводу ровно нисколько. Но то, что за железной дверью лежит чьё-то и ждёт своего человека тридцать лет, я себе куда-то записал.

За Сокровищницей, вдоль стены, в ряд стояли почтовые ящики. Я насчитал семь. Окованные, с горбатыми крышками, и стояли они прямо, потому что снегу тут падать неоткуда. Дворф с тележкой шёл вдоль ряда, открывал каждый своим ключом, выгребал и захлопывал.

— Часто ходите?

— Четыре раза в день, и это ещё не считая обозных. — И покатил дальше.

У нас в долине почта уходит, когда Стен собирается идти через Туннель. Стен собирается, когда у него накопится, а накапливается по-разному.

Дальше зал забирал вверх и вправо, и туда шли уже не все. Дорогу я спросил трижды и трижды получил ответ такой подробный и такой быстрый, что запомнил только первую треть, но общее направление у всех троих совпало.

Высокий Трон стоял выше города. Я его снизу и увидел: широкий подъём, свет, и наверху, в глубине, зал, из которого шёл ровный гул, какой бывает от многих людей в большом каменном помещении. Туда шли, и оттуда шли, и у нижнего конца подъёма стоял стол, а за столом сидел писарь, и вокруг стола толклись человек двадцать.

Вот тут я оробел, и оробел от простой мысли: сейчас выяснится, что я должен был что-то сделать заранее, а я не сделал.

— Бумага в Высокий Трон, — начал я. — Сенатору Барину Красному Камню. Из Караноса, от специального посланника Сената.

— Клади сюда, — сказал он, не поднимая головы.

— Не могу. Мне велено в руки.

Писарь наконец на меня посмотрел, и посмотрел с интересом, которого я не ожидал.

— В руки, — повторил он. — Прямо такими словами, в руки?

— Прямо такими. В руки, не мочить, никому не показывать, дороги дальше ворот ни у кого не спрашивать. И не бежать.

— Правильный у тебя посланник. — Он придвинул к себе доску с листом. — Ну, тогда сегодня никак. Сенаторы бумаги в руки берут с утра, с утра до полудня, а сейчас там разбирают тяжбу двух артелей, и разбирать её будут до ночи. Сунешься с бумагой, тебя не то что не примут, тебя запомнят.

— А это плохо?

— А это очень плохо, — обрадовал меня писарь. — Тут запоминают по одному разу, зато навсегда.

И начал писать.

Я, надо сказать, вытянул шею. Я на чужие списки смотрю, как другие смотрят в чужие окна, и стыда у меня по этому поводу нет ни капли. Он написал в столбик что-то короткое, поставил рядом чёрточку и повернулся ко мне.

— Порядок такой. Ты у меня четырнадцатый. Придёшь к смене, встанешь, где скажут, и пойдёшь четырнадцатым.

— А имя? Вы у меня имя не взяли.

— Зачем мне твоё имя? — искренне удивился писарь. — Мне не нужно, кто ты. Мне нужно, кто за кем. Имя своё сенатору назовёшь сам, у него уши есть.

Я это переварил и решил, что он прав. Он был прав до неприличия.

— А как я узнаю, что утро? У вас же тут... ну, темно у вас тут одинаково.

— Услышишь. Как перекинут смену, так и утро.

Пока я соображал, что это значит, за спиной у меня уже стояли пятнадцатый и шестнадцатый.

Ночлег я пошёл искать сразу: топтаться у чужого стола было уже неприлично, а ноги к тому часу гудели как чужие. Спускался я тем же путём и всё оглядывался наверх, на знамёна, которые висели ровно и неподвижно, будто внизу под ними ничего не происходит. Внизу под ними толчея за целый час не убавилась ни на волос.

Таверна «Каменный огонь» нашлась там же, в Общем зале, и найти её было легче лёгкого: она была единственным местом, откуда пахло не железом. Взяли с меня за угол на ночь три медяка, и я отдал их с чистой совестью, потому что медь эту я заработал в берлоге.

За три медяка мне полагался угол, и углом оказалась лавка в общей комнате, и на лавке уже спал кто-то в кольчуге. Я сел на край, разулся, вытянул ноги и достал полоску кожи.

Писать было нечего. За весь день я не узнал ни одного имени.

Я подержал её, свернул и положил обратно, в тот же карман, рядом с книжкой в кожаной обложке. Потом лёг.

Спать в этом городе оказалось невозможно.

Дело не в кольчужном соседе и не в лавке, хотя лавка была так себе. Дело было в том, что снаружи не наступала ночь. Гул за стеной не менялся вообще: он не рос и не спадал, он был ровный, как вода в реке. Часа через полтора я понял, что лежу и жду, когда затихнет, а это, знаете, самое дурацкое ожидание из возможных.

Я встал, обулся и пошёл смотреть на город, который не собирается спать.

Дорогу мне никто не показывал, да я и не спрашивал. Я шёл вниз и на тепло, а вниз и на тепло тут ведёт одно место.

Чем ближе, тем меньше становилось людей и тем громче делалось всё остальное. Сперва пропал разговор. Потом пропал звук шагов. Потом я вышел на верхнюю галерею над Великой Кузней и перестал слышать самого себя.

Внизу была яма.

Яма была круглая, широкая, полная расплава, и расплав в ней жил: по нему ходили медленные волны, и с волн сходила серая плёнка, и там, где плёнка рвалась, било таким светом, что глазам делалось больно. Вокруг ямы, на постаментах, стояли наковальни. По краю, в стенных нишах, работали литейни, и время от времени какая-нибудь из них наклоняла ковш и вылиwała шлак вниз, в отводной жёлоб, и шлак шёл красной кашей и на глазах седел. С двух сторон, сверху, по камню сползала магма. Медленно, густо, как мёд с ложки.

И над всем этим стоял ровный, тяжёлый, весёлый грохот.

Я простоял на галерее долго. Молиться мне в тот момент, если совсем честно, не хотелось: хотелось спуститься и всё потрогать, и я отдаю себе отчёт, что это про меня говорит.

Спустился я по боковой лестнице, и меня немедленно облаяли.

— Куда! Куда пошёл, борода! — Здоровенный дворф в кожаном переднике поймал меня за плечо и развернул. — Тут ходят по красному, а ты идёшь по серому! По серому только с ковшом ходят, понял? Тебя тут в лепёшку!

— Понял! Извините! А по красному это где?

— Да вон же оно, глазами! — Он показал. По полу шла широкая полоса, вытертая до другого цвета, и по этой полосе действительно шли люди. — Стой, ты жрец, что ли?

— Послушник я. Второй месяц.

— А. Ну, тогда стой вон там и не мешай. Там стоят все, кому надо стоять!

Место, где стоят все, кому надо стоять, оказалось хорошим местом. Каменный выступ, в стороне от жара, и с него видно яму. На выступе сидел старый дворф и обедал. Обедал он в третьем часу ночи, если считать по-караносски, и обедал очень основательно.

Я сел рядом, потому что больше сесть было некуда.

— Ты кричи! — заорал он мне в ухо. — Кричи, я не глухой, я привычный. Тут все кричат, кто не кричит, того не слышно, а кого не слышно, того и нет!

— Я говорю, у вас тут всегда так?!

— А как ещё? Оно само по себе не остынет!

И тут я задал вопрос, который в тот вечер грыз меня сильнее всего, и задал его в лоб, потому что орать намёками невозможно.

— Огонь! Огонь тут когда гасят?!

Старик посмотрел на меня и засмеялся. Смеялся он долго, с удовольствием, и одновременно доедал.

— Никогда! Слушай сюда, парень, я тебе объясню, а то будешь ходить дурак дураком. Огонь в яме не гасят, потому что его потом не зажжёшь. Ты костёр гасил? Ну вот. Костёр залил и утром заново развёл, и все дела. А это тебе не костёр. Это восемь сажен расплава. Дай ему остыть один раз, и у тебя в яме камень. И этот камень будут вынимать месяц, и вынимать его будут уже не те, кто дал ему остыть, потому что тех к тому времени... — Он махнул рукой и договаривать не стал, но махнул выразительно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.